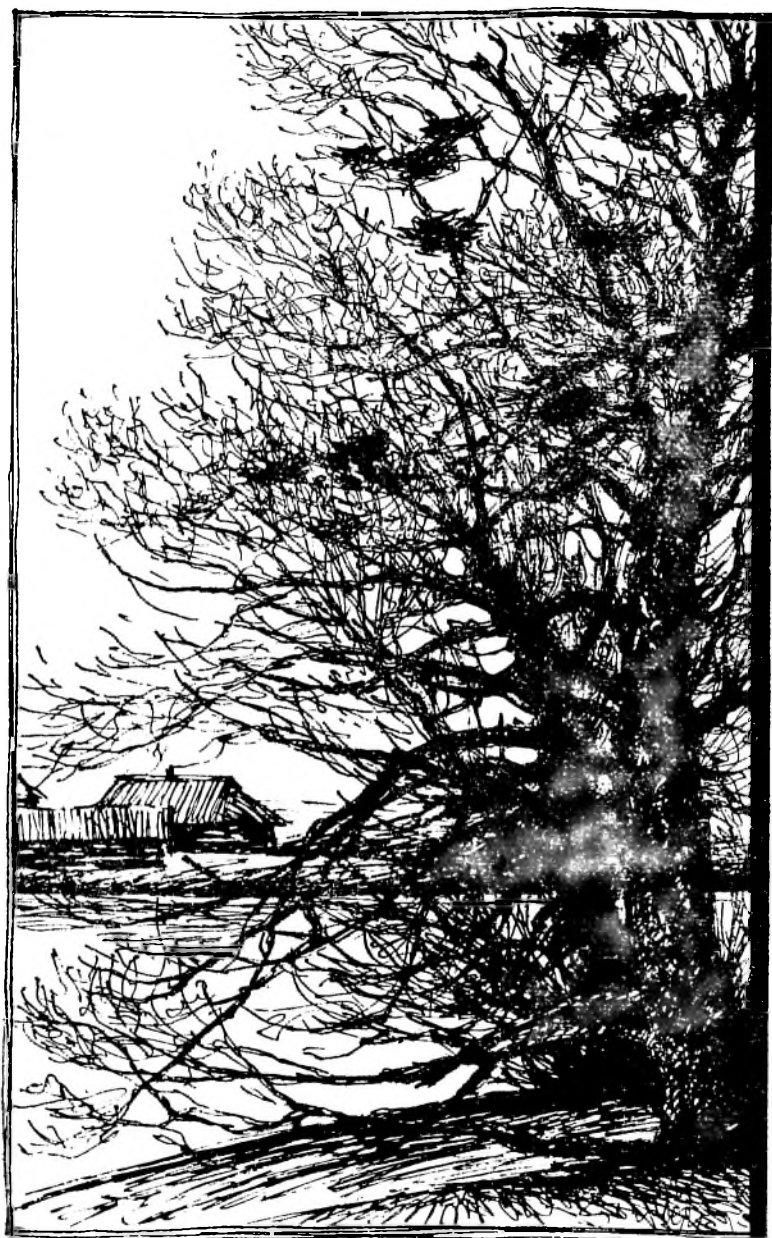




ИВАН ВАСИЛЬЕВ

В пам'яті живуть люди





ИВАН ВАСИЛЬЕВ

В памяти живут люди

Повесть

Москва
Детская литература
1984

P2
B19

Художник
Н. Короткин

В $\frac{4803010102-496}{M101(03)84}$ 244-84

«НАШ СОВРЕМЕННОК», 1981 г. № 1, 12.
© Иллюстрации.
ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСКАЯ ЛИТЕРАТУРА», 1984 г.

Моя деревня называлась Верховино. Название — то ли от верхних овинов, то ли от верховины — высокого места в лесу. Стояла она на взгорье у кромки леса, у слияния двух невзрачных ручейков, которых уже нет, и люди помоложе меня их не знают. Тот, кто пашет теперь тут землю или косит сено, уже не может напиться из тех ручьев.

Как я себя помню, в деревне было всего-навсего пятнадцать дворов. Загибая пальцы, считаю: на заводы и фабрики ушло восемнадцать моих сверстников, в интеллигенцию — девять, война не вернула десятерых. Возвратясь с фронта, я посчитал семь изб — двенадцать баб и стариков. Они еще долгие годы пахали и засевали ту же землю, что и раньше: Ренду, Митину гору, Горованку, косили Заремьянье, Игнашев луг, Яров-клин, пасли скотину на Пашменовом болоте.

Но время взяло свое. Деревни не стало, если не считать трех хатенок, которые запланировано снести, а сады раскорчевать, печины запахать и сеять тут хлеб. Пока этого еще не случилось, мы, дети ее, приезжаем сюда посидеть на заросших травой камнях, побродить по садам, поклониться на погосте родным могилам. Неодолимая сила тянет нас сюда из ближних и дальних городов. Это ни на что не похоже. Это нельзя сравнить даже со страстью путника приложиться к роднику. Там — одно: утолить жажду тела. Здесь — иное: напоить нечто в душе. Разбудить, извлечь

из-под наносов прожитого, рассмотреть и понять, что же оно такое, это «ничто», без чего, оказывается, так неуютно жить на свете.

...Я сошел с автобуса за три версты от Верховинна, постоял, пока не улеглась пыль, поднятая колесами, и огляделся. Слева, за яблонями, виднелось несколько изб, справа — развалины церкви и усадьбы, за ними — десяток старых лип с усохшими вершинами и молодая поросль, густо взявшаяся от корней. Корни деревьев продолжали жить, гнали к свету земные соки, и вырастал новый парк, буйный, беспорядочный, неистребимый.

Тут было село Хряпьево. Я помнил его большим, нарядным. Сюда по ноябрьским пристывшим проселкам из окрестных деревень сходились на митинги мужики. Балкон имения был в кумаче, там стояли какие-то недосыгаемо значительные люди в кожаных тужурках и шинелях и говорили речи о революции, а на дорожках и газонах теснились мужики, немножко хмельные не столько от выпитого в потребиловке вина, сколько от воспаляющих головы речей о земле и воле.

Еще я помнил церковь: благовонный ладанный дымок, душную тесноту под каким-то покрывалом, наподобие попоны, куда гуртовали нас, дикую малышню, бабушки на исповедь, и мы задушенно пищали в ответ на вопрошающий глас попа: «Грешны, батюшка».

Позже я ходил в церковь с холщовой школьной сумкой и набивал ее книжками. В церковном притворе я впервые в жизни увидел библиотеку. По теперешним представлениям это была крохотная волостная библиотечка, но для нас тогда — громадная и таинственная, как громаден и таинствен был мир, скрытый за толстыми, пахнущими кожей переплетами. Мы постигали этот мир, как мореплаватели новые земли, — со страхом, надеждой, упоением, жадностью и отвагой. Деревенским мальчишкам, верящим в бога и черта, в колдунов и домовых, нужно было иметь немало дерзостной отваги, чтобы, начитавшись книг, не крестить лба перед обедом, отправиться в «заколдованное» место и просидеть там ночь, выкрикивая вызовы страшным всемогущим силам. Мы отважно разрушали в себе старый мир, и не мальчишеской дерзости дивлюсь я сейчас, а тому молчаливому поощрению, которое выказывали нам отцы, по представлению некоторых забывших свой род грамотеев — темные деревенские мужики.

Я сворачиваю с большака на проселок, к небольшому круглому взгорку — погосту. Тут они покоятся, верховинские, макаринские, игнашевские, лифановские, дроздовские мужики, за исключением тех, что без вести пропали на полях Галиции, в Мозырских болотах, на сопках Маньчжурии, в бескрайних просторах России, под городами Европы.

Сельские погосты... Какой-нибудь сугорок, клочок земли-неудобицы, две-три березы, посеянные ветрами, кусты сирени и холмики, холмики, без оград, без каменных надгробий... Гуляют по погосту ветры, несут с полей пыль и запахи хлебов, наметают зимой непролазные суметы, которые сбегут потом вешними водами, размыв и унеся по пути забытые холмики.

Поразительно: сотни лет хоронят здесь, а погост не разрастается — как был холм, так и остается, только как бы приседает, стирается, сравнивается с окрестными пизами, и уже не отличишь его издали от обыкновенной зеленой куртины. Я понимаю: не с чего было мужику тратиться на склепы и надгробия. По одежке протягивали ножки. Но где они, те помпезные надгробия, сооруженные за счет мужицкого пота? Время сровняло земляные холмики безвестных мужиков и каменные склепы титулованных особ. Не в том ли величие народа, что не пыжился он увековечить имя надгробием, а просто и скромно насыпал холмик земли над уже насыпанным — над прадедом, дедом, отцом, поколение на поколение, поколение на поколение, — и, не предаваясь долгой печали, возвращался к будничному нескончаемому делу — сеял хлеб. Эта скромность и величие невыразимой грустью щемят сердце всякий раз, когда приходится стоять, предаваясь размышлениям, у сельских погостов.

Я сошел с проселка, перешагнув оплывшую канаву и высокой некошенной травой прошел на сугорок. Не сразу нашел могилу отца. Какие-то странные деревья росли вокруг — кривые, узловатые, с высокими зонтичными кронами. Что за диковина: никогда на русском погосте не сажали деревьев горных лесов! Присмотрелся — да это же сирень! В тесноте кусты стали деревьями — маленькими, уродливыми, но деревьями. А может, сирень набрала силу от праха поколений?

Я присел на соседний холмик и предался размышлениям. Мне хотелось сказать верховинским мужикам, что вот пришел я их навестить, что судьба, которую прочили

они мне, кажется, сбылась, но долг свой перед ними я еще не исполнил — не рассказал о них людям.

На могилах ни надгробий, ни имен. Правда, в последние годы пришла и сюда мода ставить голубые ограды из железных прутьев. Железа стало много, любой тракторист за бутылку сварит-свинтит простую решетку. А честно говоря, не воспринимаются решетки на сельском погосте, не подходит мужику железная огорожа, пускай бы глядели холмики прямо в просторный мир.

...Меня вызвали телеграммой: умирал отец. Я добрался поездом до райцентра; мела непроглядная февральская метель, ни о каком транспорте нечего было и думать. На счастье, в райисполкоме встретил знакомого, срочная нужда гнала его в МТС, конюх запрягал чалого мерина, и с этой оказией добрался я до Хряпьева. Дальше три версты пешком — вцелик, через поля и овраги, встречу метели.

В избе было темно, над столом горела семилинейная керосиновая лампа, та самая, при свете которой я много-много лет назад на этом же, единственном в избе — и кухонном, и столовом, и портняжном, когда случалось приглашать портного, — столе готовил свои школьные уроки. Свет лежал тусклым кругом, не доставая деревянной кровати в углу. Кровати было столько же лет, сколько и избе, словые брусья от времени стали темно-коричневыми. На этой кровати родились мы, трое братьев и сестра, на ней мы болели, на ней умерли брат и бабушка. Теперь умирал отец. Он лежал на боку под старым слежавшимся и оттого тяжелым и негреющим ватным одеялом. Он уже не мог открыть глаз, сил хватило на два слова: «Все... мое...» Это «все мое» острой болью живет в моем сердце. Всяко умирают люди: с криком, с гневом, с протестом, смиренно, безропотно... Ничего похожего не было в интонации «все мое». Было как-кое-то щемящее спокойствие, может быть, ближе всего к безмерной усталости пахаря, наконец-то закончившего ниву. Но почему он произнес не «конец», не «прощай», не что-нибудь иное, а именно «все мое»? Столько лет хочу проникнуть в его последнюю мысль и понять: почему?! Как много вобрала в себя два слова! «Все мое» — это огромный мир, уходящий с ним. Это его и только его жизнь, чувства, мысли, желания, не познанные мною, лишь в малой малости переданные мне, а в целом-то унесенные, исчезнувшие, невозвратимые. Нет, я не в силах объяснить

двух последних слов, их простого и великого смысла. Может быть, позже...

А метель выла и стонала за окном. Помочь было нечем, сознание своего бессилия угнетало. Он умер неслышно — угас, жизнь ушла. Я выпрямил его еще не остывшее тело, сложил на груди руки. Мать велела сходить за Сашкой Колихой — обмыть усопшего. Своим нельзя — так велит обычай. Я все-таки нарушил: старой Колихе было не под силу одной. Я поднял тело на руки, чтоб перенести на лавку, и поразился его легкости. Сколько раз носил на руках он меня, а я его — один-единственный, и то не при жизни — так уж определено между отцом и сыном.

Перед рассветом я пошел в Игнашево просить Петровича сделать гроб. Старик складывал в мешок инструмент и ахал:

— Ах, Афанасий, побратим, рановато собрался. Думано ли — домовину стругать тебе...

Петрович был стар и ветх настолько, что сам идти в такую непогоду оказался не в силах. Я попросил у бригадира коня, но на гумениках мы увязли в сугробах, и пришлось коня выпрягать, вытаскивать сани на себе. Свирепый ветер со снегом валил с ног, продувал насквозь шубенку Петровича, он дрожал осиновым листом.

— Что делать, Петрович?

— Бери мешок, иди передом, буду тебя держаться.

Продержался Петрович десяток шагов — души не может поймать. Я обхватил его рукой, мешок закинул за плечи, так и тащились мы часа два. А от деревни до деревни — верста.

Потом Петрович сидел на лавке, показывал, где пилить, где строгать. Я пилил и строгал — делал отцу домовину.

Метель бесилась весь день и на следующий тоже, когда мы с Петей, сыном Сашки Колихи, вернувшимся со службы, отправились на погост рыть могилу. Больше в деревне мужиков не было.

В день похорои небо прояснилось, пала оттепель, пять верст кружным путем ехали на дровнях. Вечером при лампе сидели застолицей — пять женщин, Петрович и мы с Петей.

...И вот — холмик. Он есть, пока есть я, внуки уже не придут подновить, им некогда, они далеко. На этом месте похоронят другого. Все на земле стирается. Все, кроме

памяти. Да и память уже не будет различать их поименно, а просто — «верховининские мужики». Так и должно быть, печалиться не от чего.

...Я пошел дальше. В километре от Хряпьева, на крестах, стояло сельцо Успенское — некогда имение барыни Елагиной, после революции — школа крестьянской молодежи. Барский дом не очень годился под классы, но как-то его приспособили, срубили приделы — ничего, учиться можно было. Деревень из двадцати приходила сюда за парты молодежь.

Память хранит многое из той светлой поры, но более всего жаль парка и столетних дубов, силеных немецкими солдатами. Вандалы устроили в школе казарму, а в нашем, самом большом классе — конюшню, пилили дубы и топили печи, пока не спалили все подчистую: и школу, и парк, и село. Теперь тут голо, только пруд с островками тускло блестит посреди пустыря, зарастая рогозой и ряской. Я видел прах городов и деревень, развалины дворцов и храмов, но, как ни странно, именно наш школьный парк ассоциируется у меня с вандализмом.

От Успенского до Верховинина ходу полчаса большаком. И большак, и исчезнувшая в осоке речка Заремьянка, и кусочек леса, называемый Яров-клином, и выгоревшее торфяное болото, в котором гнездятся утки, — все это малые капли, оставшиеся на донце души светлым родником, утоляющим беспокойную душу.

В Верховинине много садов. Не знаю, кто положил начало — посадил первую яблоню. К тому времени как начал я себя помнить, сады были сильными, плодоносящими и такими большими, что в пять-шесть лет немудрено было заблудиться. Теперь дивлюсь: ну что за мужики, при безземелье столько занимать под сады! Сажали бы картошку, сеяли жито, так нет же — насажали яблонь, вишен на всю улицу, из края в край. А как они цвели! Белой кипенью бушевал в деревне май, подоконники усыпало облетающим цветом, на улице за проехавшей телегой поднималась метелица.

Я обошел сады и остался ночевать в отцовском. Тетка Тоня, старуха солдатка, вынесла мне дерюжку, полушубок, я улегся под высокой лешугой и всю ночь не сомкнул глаз. Лежал и думал. Тетка Тоня сказала, что вот по лету приезжал мужчина, спрашивал, куда подевался дяди Афонин дом, назвался Володей, пояснив, что еще маленьким вместе

с матерью гостил тут. Я не мог вспомнить, кто такой Володя, гостивший у нас. Тогда тетка Тоня сказала:

— Ну что же ты, я и то вспомнила. В тот год было, как я сюда замуж вышла. Из Ленинграда к вам приезжали. Женщина с мальчиком. Дальней родственницей вам приходилась.

Что-то туманное всплыло в памяти, но лица никак не прояснялись, так и представил себе каких-то абстрактных женщину и мальчика. Вот и подумаешь: я-то ладно, я пуповиной к моей деревне привязан, а он, этот неведомый Володя, гостивший тут всего одно лето, — как он-то запомнил все это и зачем приехал сюда спустя сорок пять лет? За какой родниковой каплей приехал?

Так что же такое эта почти исчезнувшая деревенька Верховинино? Что она для нас, родившихся, выросших, гостивших тут, теперь уже пожилых людей? Не знаю. Книжные слова о родном гнезде, о корнях-истоках очень уж стерты, приблизительны. Я лежал под яблоней-лешугой, и ни гнездо, ни корни не приходили мне на ум, было ощущение покоя и полной слитности с землей, с теплым звездным небом, с яблоневым садом, с пустой деревенской улицей, было чувство, похожее на то, как если бы душу подключили к источнику добра и правды, и она, освобождаясь от всего суетного, наполнилась человеческой красотой.

...Лешугу отец посадил в середине сада, думал, добрая яблоня будет. Росла она, росла, антоновку с ранетом обогнала, а все не зацветала. Срубить было жалко: все ж таки яблоня.

— Погожу, — сказал отец, — авось уродит.

И вот начала лешуга плодоносить. Сначала белым-белым цветом зацвела, белее вишни и сливы. И до того густо, словно обсыпало ее за ночь поздним чистым снегом. Потом яблочки завязались, маленькие, обильные.

Бежит и бежит лето. Травы на лугах скосили, рожь посеела — жать начали, а яблочки как висели малюсенькие да зеленые, так и висят.

Ранетки давно спяли, белым наливом на ярмарках торгуют, слива созрела, а лешугины орешки лишь с бочка розоветь начали. В рот и не думай взять — челюсти сведет.

Мужики над отцом смеяться стали:

— Эку дуру приволок ты, Афоня!

Отец уж и не смотрит на лесную дикарку, топор нато-

чил, ждет, когда лист опадет: дерево с плодами рубить рука не поднимается.

А когда начал опадать лист, лешуга и сказала о себе. Да так, что насмешники лишь руками развели:

— Леший удружил тебе, Афоня.

Ах и добрый был леший! Лешугины яблочки в один день так налились янтарным соком, что насквозь засветились, хоть зернышки считай. А в рот положишь — то ли пряника вкусил, то ли меда сотового. Отец объяснил чудо так:

— Земля плоды напоила. Лист, видишь, опал, а корни не уснули еще. Весь сок земной и приняли в себя яблочки...

Много лет спустя я вспомнил лешугу. В приморском городе М. редакционное задание привело меня в один дом. Хозяин встретил любезно, но просил повременить с беседой, кивнув на ширму, из-за которой доносились звуки музыки: кто-то неуверенно играл на пианино.

Минут через десять ширма колыхнулась, и через гостиную прошла женщина, невысокая, хрупкого сложения, с неброским, скорее даже некрасивым лицом. Поражали ее глаза, большие, серые и не то грустные, не то настороженно ждущие. Было такое впечатление, что женщина вот-вот обернется и спросит: «Вы меня звали?»

Впрочем, вовсе не глаза меня заинтересовали — мало ли на свете необыкновенных глаз! Заинтересовало оброненное вскользь хозяином пояснение, что учительница музыки — уважаемый в городе врач. Я спросил:

— Деньги?

— Что вы! Что вы! — замахал он руками. — Доктор Валя в высшей степени благородный человек. — И, оглянувшись на ширму, понизил голос до шепота: — Девочка, видите ли... э-э... с трудом передвигается. А о деньгах не смеем и заикнуться.

Мне захотелось рассказать читателям о благородном человеке. Но... доктор Валя не пожелала и разговаривать на эту тему.

— В газете? Обо мне? Никогда!

В необыкновенных глазах ее прочел я всю безнадежность моего предприятия.

И до этого попадались мне «трудные» герои. Бывали орешки — ого! Но чтобы вот так: сказала — отрезала, пришлось услышать впервые. Надо было б и мне махнуть рукой: не хочешь — не надо. Но меня, что называется, заело,

и, набравшись терпения, отправился я в долгую кружную дорогу.

Кончался в редакции день, я убирал бумаги в стол и шел в город. Шел в поликлинику, в больницу, на квартиры к больным, в музыкальную школу... Приставал с расспросами к врачам, педагогам, родителям... Исписал блокнот, второй... Перечитал все автобиографии, писанные когда-либо доктором Вале́й для отделов кадров... Я располагал столькими фактами душевной щедрости этого человека, что мог бы уже писать очерк. И в то же время не мог. В руках были плоды, но я не знал, какие соки напитали их.

Южная ночь упала сразу, без сумерек. Прошел обильный дождь, тропинка, ведущая на улицу Буйнакского, раскисла. С трудом поднялся я по ней. Внизу черно и маслянисто блестя море, сверкала огнями бухта. Среди мокрых садов отыскал небольшой домик с плоской крышей и открытой верандой. Одно окно светилось. Я постоял, прежде чем стучать. Знал: такого гостя тут не ждут. Но бывают, оказывается, удачи, посылаемые нашему брату за терпение. Меня встретила сестра доктора Вали, тоже врач, только педиатр, розовощекая хохотушка.

— Шура, — отрекомендовалась она, подавая мягкую, теплую, как и должно быть у детских врачей, руку. — А вас я знаю, наслышана. Охотитесь за нашей дикаркой. Скажу, что не такой уж вы и страшный. Чего она от вас прячется?

Вот о ком писать! Милое дело: ни вопросов, ни расспросов. В пять минут вся биография как на ладони, да еще с «картинками». От одной такой картинки у меня дыхание перехватило: вот они, соки, напитавшие плод!

— Знаете, тогда война шла. Мы девчонками были. Валя постарше, я совсем малышка. Отец, понятно, на фронте. Мама в библиотеке, зарплата так себе. Голодно, холодно, и все такое прочее. Но — как все, так и мы. Терпим и надеемся. Однажды мама вернулась не одна — привела незнакомую женщину с девочкой лет десяти. Это были беженки. В одних платьях и босые. «Девочки, — сказала нам наша мама, — у вас теперь будет сестренка, подберите ей туфли, платье, завтра в школу вместе пойдете». Стало нас пятеро. Живем — перебиваемся. А в начале зимы наша мама сотворила настоящее чудо. Вы сами-то воевали? По возрасту не похоже. Ах, воевали! Извиняюсь. Во всяком случае, холостяком были. Вот видите, значит, всего и вам не понять. В один мокрый-премокрый вечер, когда мама

торопилась домой, ее останавливает военный и говорит: «Простите, я понимаю всю несуразность своего вопроса, но ничего не могу с собой поделывать. От самой границы спрашиваю у случайных людей, не встречалась ли им женщина с девочкой? Меня принимали за помешанного, мне сочувствовали, но говорили: «Разве можно найти иголку в сене?» Люди правы, но, знаете, если потерять надежду...» Мама расспросила военного и, ничего не говоря, велела идти за ней. На наших глазах разыгралась потрясающая сцена: муж нашел жену и дочку, с которыми расстался в первый день войны. Слез и радости в доме было на всю ночь. Я тоже ревела. А Валька, представьте, нет. Ни слезинки. Только глаза вот та-акие сделала и глядит на маму не мигая. Представляете, она подумала, что мама волшебница.

...Когда я покидал домик на улице Буйнакского, на тропинке перед калиткой разминулся с доктором Валея. Она шла усталая, в мокром плаще и ни слова не сказала, только бросила в мою сторону быстрый взгляд. «Да отвяжешься ли ты наконец?!» — прочитал я досаду и укор во взгляде и мысленно сказал: «Отвяжусь. Теперь — все».

Потом долго сидел на набережной и слушал шум моря. Он уносил меня в прошлое. Опять горели города, брели по дорогам беженцы, размахивали наганами на перекрестках осипшие командиры... И на этом немом фоне — две девочки: одна обхватила ручонками шею отца, другая большими глазами глядит на чудо, сотворенное добрым сердцем матери. В такой миг детская душа созревает для высокого и благородного служения...

...Лешуга. Лесная дикая яблоня. Она подсказала мне ответ: не место, а люди живут в памяти. Все, что окружало меня в детстве — сады, березовая роща, хлебные нивы, луга, тропинки, проселки, школьные дубы, погост, — все было одушевлено человеком: бабушкой, отцом, матерью, соседом, прохожим. Без них ничто не вошло бы в душу, ничто ни о чем не рассказало бы мне, и, стало быть, нечего было бы помнить. Ведь прохожу я мимо других таких же садов и деревень, нив и парков без особого душевного трепета, они ни о ком мне не напоминают.

Значит, неодолимая сила, влекущая нас на склоне лет в родные места, есть не что иное, как память о людях, бесконечная благодарность им, передавшим нам, перелившим в нас свой мир, а потом уж мы под воздействием жизнен-

ных обстоятельств видоизменяли его, расширяли, обогащали, но основа основ — понятия добра и правды — заложена отцами и дедами, обыкновенными русскими мужиками.

«...Мужики суходольские ничего не рассказывали. Да и что им рассказывать было! У них даже и преданий не существовало. Их могилы безымянны. А жизни так похожи друг на друга, так скудны и бесследны! Ибо плодами трудов и забот их был лишь хлеб, самый настоящий хлеб, что съедается. Копали они пруды в каменистом ложе давно иссякнувшей речки Каменки. Но пруды ведь ненадежны — высыхают. Строили они жилища. Но жилища их недолговечны: при малейшей искре дотла сгорают они...»

Прочитал я это у Бунина в «Суходоле», и мелькнула мысль: прав старик. Вот исчезло Верховинино — что осталось от мужиков? Пруды-копанцы заплыли, колодцы обвалились, избы сгнили, преданий не существует...

Но стоп! Что-то не так. Да, они по-прежнему, как и сто и тысячу лет назад, сеют хлеб, тот, что съедается, строят избы, которые при малейшей искре сгорают дотла, но сами-то мужики не те. Социально-исторические бури не сами собой пронеслись, их сотворил мужик, сотворил, раздул и вышел из горнила хозяином. Он послал детей своих в необжитые земли, и построили они там города и заводы, которые будут стоять вечно. Он послал детей своих в школы, и пишут они теперь книги, проникают в микро- и макромир. Он и сам, пахарь и сеятель, стал механиком и химиком, государственным и общественным деятелем, воином-освободителем и другом всех угнетенных, и деяния его еще при жизни стали преданиями. Нет, не прав Иван Бунин. И в отношении тех мужиков, наших предков, не прав. Иначе откуда бы взялись мы, нынешние? Вот усохли, свалились старые липы, а от корней пошли молодые. Но ведь липки пошли, а не елки и березы; унаследовали деревья и ствол и крону, как унаследовали и мы от предков-мужиков свою сущность.

Вся моя сознательная жизнь, а это без малого полвека, прошла здесь, на псковско-новгородско-тверской земле, в деревнях да маленьких городишках; учил в сельских школах детей, позже изъездил весь край с корреспондентским билетом. Сколько встреч! Сколько судеб! Сейчас ругаю себя за то, что не записывал все слышанное и виденное,

что не вел дневников. Кое-что осталось в блокнотах, в газетных заметках да в ненадежной памяти. Но вот что удивительно: крепко держатся чувства, настроения, которые рождала каждая встреча, и я испытываю их вновь всякий раз, когда приходится ступить на старые пройденные проселки. Чаще всего это случается на какой-нибудь дороге-полевке.

Люблю я эти неторные полевые дороги! Вот бежит она от деревни к большаку, перекинулась через косогор, повиляла по мокрому лугу, нырнула в перелесок, сошлась там с другой, такой же дурнушкой, и вместе с нею выскочила на большак.

Много проселков на русской земле. На спусках размыты они вешними водами, через топкие ручьи гати кинуты, на суходолах подорожником да конским щавелем заросли. Всего-то и езды по ним — два раза в году: весной семена на поле провезут, осенью хлеб в амбары свезут. Но нет лучшего места для раздумий, чем неторная полевая дорога. Идешь и думаешь: а ведь большаки без полевков не живут. Все, что в кузовах машин катится по трассам, стеклось-собралось с таких вот проселков.

И жизненные пути мы тоже дорогами называем. На большие и малые делим. Про иного говорим: «Так бедняга и не выбился на большую дорогу». А в том ли дело, какой дорогой в жизни идешь, большой или малой? По-моему, наш путь тогда чего-нибудь стоит, когда, на проселки свои возвратясь, не стыдно поглядеть в глаза людям.

Вот вернулся я домой, ходил тропами-проселками и опять пережил и детскую боль, и детскую радость. То и другое было от мужиков, они заставили пережить. Было так.

...У самого большака на сухом болоте росла березовая роща. Деревня пасла в ней скотину. Нас, мальчишек, посылали подпасками. Росными туманными утрами пестрые коровы разбрелись среди белых, крапчатых зеленоватым лишайником стволов, все кругом виделось неясно, зыбко, походило на волшебную небыль. Потом поднималось солнце, лучи его пробивались сквозь листву, и по всей роще, как чудные деревья, вырастали косые, золотисто дымящиеся столбы.

Березовая роща была сказкой моего детства.

Но однажды сказку... украли.

У мужиков случился земельный спор. Трое верхо-

вишинских — Ваня Золотой, Федя Лёшкин и Коля-кадочник — да сколько-то макаринских мужиков образовали колхоз «Безбожник» и выспорили у единоличников изрядный кусок земли. В отрез попала и роща. Ни на что она не годилась, кроме как на дрова. Артельщики, как я сейчас понимаю, нуждались не столько в дровах, сколько в демонстрации силы. И показали дружную силу топорами — за неделю свели рощу.

Стояла зима, снежная, студеная, с сухими метелями. С утра до вечера мимо нашей избы тянулись подводы, нагруженные кряжами. Я слушал тягучий, жалобный скрип сапных полозьев, и мне казалось, что это плачут заиженевшие, перетянутые веревками обрубки берез. Было жалко их и больно.

Скоро тех же мужиков увидел я на иных подводах.

У нас случилась беда. Летней ночью воры увели со двора корову. Воры были опытные: обули корову в лапти — ни собачий нюх, ни человеческий глаз следа не взяли. Мать сидела на лавке окаменевшая, отец потерянно слонялся вокруг двора, мы ревели в голос. Искали три дня. Только на четвертый по вороньему граю нашли мы с братом в лесу требушину. А возвратившись домой, увидели у крыльца подводы с хлебом. Мужики-артельщики сносили в сени тугие мешки. Следом за артельщиками повезли «помогу» мужики нашей и соседних деревень. На тот хлеб и была куплена корова.

Вспоминая артельщиков, я снова переживаю удивление — первое, детское, потрясающее щедростью и благородством.

Хочу рассказать и о том, как рождалось другое чувство — собственного достоинства.

...Часть леса, отсеченная от массива большаком, вдавалась узкой полосой в яровое поле и, наверно, поэтому звалась Яров-клином. Лесочек представлял собой густую еловую поросль с толстыми пнями на полянах. Нас удивляла не толщина пней — хоть садись за них и обедай, — а ровнота сруба. Могучие елки были срублены топором. Мы думали, что в лесу похозяйничали великаны. На самом деле это были наши отцы, срубившие деревья на избы, в которых мы родились.

Летом в Яров-клин мы гоняли в почное коней. Засветло набирали сушняка, обкладывали пень и поджигали. Хворост сгорал быстро, от него занимался пень и всю ночь

тлел малиновым жаром. Наслушавшись сказок и небылиц, мы засыпали вокруг этой печки, закутанные в армяки. Чуткая земля отзывалась на грузный скок спутанных коней, на натушливый крик дергача в болоте, на быстрый стукоток дрожек по большаку, передавала эти звуки нам, тревожа причудливыми снами.

Но больше всего памятен Яров-клин корчевкой пней. Лес кругом казенный, рубить его было нельзя, деревня топилась хворостом с болота да старыми пнями с Яров-клина. Мы с братом брали поутру топор, лопату, клали на плечи вагу — толстую крепкую жердину — и, повесив на нее узелок с харчами, шли корчевать пни.

Еловый пень сидит обманно. Толстые корни распротерты широко, выпирают буграми, словно жилы на руках крестьянина. Кажется, совсем просто одолеть такой пень, надо только окошаты его, обрубить побочные корни и, заложив вагу, вывернуть. А там уж в зависимости от силенок: хватит — переворачивай на попа, не хватит — жди, к вечеру придет с поля отец, поможет.

Вот как будто все сделано: земля открыта, корни перерублены, вагу заложили — жихаем, жихаем, а пень ни с места. И тогда обнаруживаешь, что держит его стержневой корень, отвесно уходящий вглубь, до которого не знаешь, как и добраться. Большой смекалки требовал этот проклятуший стержень. С иным возились по нескольку дней. Даже во сне снился. Зато и радости было, когда, вывернув и погрузив на телегу рогатое страшлище, везли его домой.

Мы шли рядом с отцом обочь телеги. Шли неторопливо, степенно, заложив руки за спины, с достоинством хорошо потрудившихся людей. На дороге из лесу до двора и были пережиты счастливые минуты осознания себя работником. Встречные мужики одобрительно говорили отцу:

— Дождался, Афанасий. Все было в долг, а нынче — с отдачей.

Мы понимали: отдаем отцу с матерью за их заботу. И уже чувствовали: это вот и есть цена человеку.

...Я не зря рассказал историю доктора Вали, встреченной на одной из бесчисленных журналистских дорог. Доброе дело матери наполнило душу девочки таким чувством, которое определило ее поведение на всю жизнь. Так вот и в нас деревенские мужики пробуждали именно чув-
с т в а, заставляли страдать, радоваться, гордиться, то есть

переживать, а это и есть суть воспитания. Дивлюсь искусству мужиков, богатейший мир чувств сумели они открыть нам. За это и кланяюсь им низко.

Только та земля станет родной, которую исходишь вдоль и поперек. Она отдаст тебе скупое тепло осенних дорог и силу студеных ключей, поделится грустью обложных дождей и радостью светлых мартовских метелей, откроет таинственность робких зимних рассветов и очарование поздних июньских закатов. Земля станет родной, и ты узнаешь, как снимает она гудящую усталость тела и сумеречную угнетенность души.

За полвека я исходил свою землю многократно и понял, отчего версты разные. Идешь, как в школьной задачке, из пункта А в пункт Б, спросишь у встречного: «Сколько еще?» — «Недалече, — скажет. — Версты три». По времени вроде бы и прошел три, а тебе — новый встречный: «Четыре с гаком». По молодости дивился: ну что за народ, всю жизнь от деревни к деревне ходят, а счета верстам не знают. Но походил-пошагал сам и так же отвечать стал, потому что не метром дорогу мерил, а чувством. С удачей шел — на крыльях летел, с горем — гири на ногах волок.

Стоял июль сорок первого. От ржаного поля, млевшего в полуденном безветрии за гумнами, от гниющих в садах опадышей, от густой крапивы за хлевами над деревней висела не проходившая даже ночью духота. Двадцать первого за полдень в дальнем конце улицы возник свистящий звук, как будто через узкое отверстие выпускали застойный воздух. Свист прошел над садами и оборвался в ржаном поле резким трескучим хлопком. Через минуту опять — тягучий свист с резким хлопком. Было похоже, что над деревней раздирают огромное крепкое полотнище.

— Пристрелка, — сказал отец. — Я знаю, чем это кончается. Уходите.

Он взял в углу у порога тросточку, с которой обычно ходил на коношню, и вышагнул в сени. Я видел, как свернул он за хлева, прошел огородом и подался в сторону Митиной мельницы. Снаряды рвались уже на гумениках. На улице заголосили бабы. Мать схватила сестренку, что-то крикнула бабушке. Гвалт на улице стих — толпа кинулась на Игнатевскую дорогу, подальше от страшных трескучих хлопков, от которых уже вползала в избы удушливая тротиловая вонь.

Меня словно приковало к подоконнику. Я чувствовал грудь, как вздрагивала каждым бревном изба, видел, как отряхивается аписовка в саду и мягко, без звука, выпадают из рам стекла, и словно ждал чего-то самого любопытного...

Обстрел кончился, наступила тишина, которую потом, на фронте, станем называть пугающей, потому что за ней должно что-то начаться, а что, не знаешь. Но в тот день, сидя в пустой с выдавленными стеклами избе и вдыхая тротилтовую вонь, я вообще ничего не знал, кроме одного: в Верховинино, которое за весь свой век только и слышало что охотничью потеху в лесу, пришла война. Тишина длилась долго, часов пять. Я успел обойти деревню, безмолвную, словно вымершую, показавшуюся мне нереальной, чужой, потому что еще не видывал брошенного людьми жилья и даже не представлял, что есть сила, способная заставить человека бросить нажитое, насиженное.

Только перед закатом тишину начал вытеснять гул. Сначала глухой, неясный, он все густел и густел, отчетливо проступил железный лязг, и вдруг сумерки распоролось огненным грохотом — это на шоссе, возле усадьбы МТС, навстречу лязгающему гулу барьером встали красноармейцы. Наверно, их было немного, потому что после короткой заминки железный гул усилился, наплыл на Яров-клин и покатился по большаку мимо деревни.

Ждать было нечего. Я нацепил на пояс австрийский штык, принесенный отцом с германской войны (дома мы им щепали лучину), закрыл сенную дверь на клямку и пошел через рожь к большаку. Наступила летняя ночь. Воржи били перепела, и их хорошо было слышно, несмотря на гул, все еще плывущий по дороге. Оттуда несло бензиновой гарью и разогретым железом. В стороне что-то горело, невдалеке по лесу бродили расстреленные кони, отбившиеся от людей коровы, и — ни единого, на сколько хватал слух, человеческого голоса, только машинный гул, топот копыт, крик перепела и беззвучное зарево на горизонте.

Утром повстречал отца. Присели на сугорке.

— Деревня цела? — спросил он.

— Да.

— Ты... насовсем?

Я кивнул. Он скрутил сигарку, закурил.

— Тебе нельзя оставаться, да. Бог милует, иди.

Мы не обнялись, не поцеловались, даже не пожали ру-

ки. Просто я постоял перед ним с опущенной головой и пошел, не оглядываясь, на восход солнца.

Сыновьям расставаться с отцами легче, чем с матерями. Отцы сдержаннее, суровее. Они уже были солдатами и знают, что обязанность сыновей — становиться солдатами. Иди, сын, твоя доля ждет тебя.

Так пустился я в свой первый и самый долгий, а точнее сказать, так и не кончавшийся путь — мерить шагами дороги родной земли. Всяко ходил: налегке и с полной солдатской выкладкой, без крошки в кармане и с тяжеленным сидором за плечами, по необходимости и по доброй воле, меня водили, и я вел, месил осеннюю хлябь и глотал въедливую пыль, мок под дождями и изнывал от жажды, — дороги есть дороги, но ни в одной не разочаровался, не раскаялся, потому что каждая дала уму свою каплю, добавила чувству свою грань.

И были на тех дорогах «судьбой дарованные встречи».

Как-то возвращались мы с товарищем из Старой Руссы в Новгород, остановились у села Коростынь, спустились к Ильменю. Сел я на большой валун, опустил ноги в теплую мелкую воду и вдруг подумал: «Вот ильменская вода, она ведь особенная, сюда, в огромную чашу, десятки рек и речушек принесли свои воды, разные, непохожие, то светлые родниковые, то мутные полевые, то темные лесные, то чистые дождевые, и смешались эти воды в одну, озерную, и, когда она вытекает Волховом через Ладогу и Неву в Балтику, говорят: «Идет ильменская вода». Никто не найдет, не отличит в ней струи Полы и Ловати, Веряжи и Веронды, Мсты и Поломети, Шелони и Полисти, для всех она — особая, неповторимая ильменская вода».

Так и человек. Прошагает по земле, сотни людей встретит, от каждого что-то возьмет-переймет, а перемешаются в нем людские душевные струи, и станет он особенным, ни на кого не похожим, неповторимым.

Теперь, когда настала пора оглянуться и поразмыслить, когда улестучились самоуверенность молодости, я признаюсь: да, брал от людей, перенимал, впитывал их душевные струи и ныне хочу разобраться, что и чье во мне.

Калинин был в копоти от пожаров, отпыхавших четыре месяца назад. На улицах дотаивали грязные сугробы, с Волги дул сырой апрельский ветер.

Здание обкома комсомола стояло черное, с пустыми окнами, без крыши. Прохожие назвали мне улицу, и я долго блуждал где-то на окраине, пока не набрел на деревянный домишко, в котором после освобождения города разместился обком.

В домишке было тесно и шумно. Только что закончился пленум, участники его еще не разъехались, толпились в коридоре, спорили и, беспрестанно хлопая дверями, убежали куда-то что-то получать. Среди серых холщовых сидоров мелькало много зеленых армейских — владельцы их, как нетрудно было догадаться, приехали из прифронтовых районов.

Сидор стал неотъемлемой частью человека. В нем находилось все, без чего нельзя обойтись, и теперь можно только дивиться, как мало надо было человеку, если это «все» умещалось в заплечном мешке. Полки и дивизии, колонны новобранцев, толпы беженцев, эшелоны заводских рабочих — миллионы людей, сорванных с места ураганом войны, двигались, двигались, и у каждого из миллионов висел за плечами на матерчатых или веревочных лямках свой маленький дом: смена белья, кружка и ложка, кусок хлеба или сухарь, катушка ниток и бритва, осьмушка махорки и огниво... Свой дом, прошлый, настоящий и будущий, люди носили на себе. Да, и будущий, потому что очень и очень часто человек начинал жизнь на новом месте с того, что было в его сидоре.

Помню, как после месячного пути добрался я наконец до Владимира, разыскал на перроне вокзала кипяток, нацедил кружку, уселся прямо на шпалах, развязал при свете луны мешок, достал сухарь... С первым глотком обжигающей живительной влаги, с ударившим в нос запахом размоченного ржаного сухаря я почувствовал себя дома. Ощущение было ново и неожиданно. Мой дом находился за тысячу километров от этих мест, и чуть не год до меня не доходило оттуда ни строчки, ни звука, а я, лунной ночью сидя на шпалах, испытываю такое чувство, будто повеяло на меня духом родной избы. И тогда я впервые понял, сколь сильно воздействие вещей, маленьких и незначи-

тельных в обыденной мирной жизни, по великих и незаменимых на войне.

...Меня позвали к секретарю. Я оставил сидор за дверью и вошел в комнату с некрашеными полами и выцветшими простенькими обоями. Там стояли и сидели девчата в ватниках, в пальтушках, в полушубках. Высокий молодой человек в накинутой на плечи шинели что-то им объяснял. Он подал мне руку.

— Нашего полку прибыло. Садись и включайся. — И опять ко всем присутствующим: — Подробные инструкции, товарищи, получите в отделах, я скажу только, что все вы направляетесь в освобожденные районы помполитами, то есть помощниками начальников политотделов МТС по комсомолу. Ваша несложная задача — восстановить комсомольские организации в деревне и готовиться к весенней посевной...

На ночлег дали талончик в «Селигер». Лучшая гостиница города уцелела, но была без стекол и без кроватей. Окна в номерах забиты фанерой, в фанере кое-где прорезаны оконца и вставлены стеклышки. Я попал в номер к партизанам, спали впокатку на полу, подложив под головы сидоры.

Утром в столовой познакомился с Зиной Жабровой — мы оказались за одним столом. Она была в пальто с меховым воротником, в шляпе и выглядела среди шинелей и полушубков «барышней».

— Тебя в какую МТС? — спросила она.

— В Скворцовскую.

— Это где?

— В селе Пятницком под Торопцом.

— А меня в Торопец. Поедем вместе. Знаешь, как ехать?

— Очень просто: пойдем на КПП, сядем на грузовик.

На контрольно-пропускном пункте мы встретили своих коллег, девчат, направленных в Селижарово, Пено, Андреаполь. Регулировщики посадили нас на грузовик, набитый ящиками. Кос-как втиснулись, укрылись от ветра брезентом, и началась дикая тряска по разбитой прифронтовой дороге.

Ехали день и ночь. Сошли рано утром и никак не могли размять затекшие и замерзшие ноги. Часа два ходили по торопецким улицам, пока не отогрелись. Торопец был взят нашими войсками с ходу и поэтому уцелел. Он выглядел

тихим, мирным городишком. Поднимались над крышами дымки, пели во дворах петухи, хрустел под ногами прохаживающийся за ночь серый ноздреватый снег.

— Тебя скоро в армию возьмут, завидую, — сказала на прощанье Зина. — А может, я раньше тебя... — Она не договорила и помахала рукой.

Теперь я догадываюсь, что она имела в виду. Много-много лет спустя, когда занялся я поисками без вести пропавших девчат-разведчиц, попались мне в списках кашинские, калязинские, кимрские девчата, а Зина была родом из тех мест и тогда уже знала, куда и на какие дела идут ее подруги. Через месяц меня действительно призвали в армию. Направляясь в военкомат, я забежал в райком комсомола справиться о Зине. Мне сказали, что она ушла на спецзадание.

Ушла и не вернулась. Из архивной справки я узнал район, в который она была заброшена в тыл немцам с разведывательным заданием. От местных журналистов, включившихся по моей просьбе в поиск, я получил письмо, в нем сообщалось, что, по свидетельству жителей, в районе деревни Прискуха были задержаны две девушки-партизанки. Немцы привязали их за ноги к телеге, погнали лошадей, и всю дорогу от Прискухи до Насвы бились девушки головами о камни. По всем данным выходило, что одна из них была Зина Жаброва.

Через Насву и Прискуху проходит теперь асфальтированное шоссе из Великих Лук на Ленинград. Я часто езжу по нему в командировки и всякий раз у какой-нибудь придорожной березки вылезая из машины и обязательно иду немного пешком. И тогда в памяти снова встает деревянный домишко на окраине Калинина, холодная гостиница «Селигер», тряская прифронтовая дорога и девушка в пальто с меховым воротником. Ничего больше не знаю я о Зине и, вспоминая ее, думаю о всех пропавших без вести девчатах, которые мечтали о солдатской шинели, но уходили в бой в своих пальтушках, в страшный бой, в котором стреляют только в одну сторону — в тебя.

...Мне надо было в Пятницкое, от Торопца на юг километров двадцать. Солнце грело по-весеннему. Из сугробов вытаивали распиханные с дороги в снежке зимнего наступления трофеи: двуколки, полевые кухни, машины, оружие.

Ботинки мои скоро раскисли, мокрые ноги стыли от

снеговой воды, а спине и плечам было жарко в овчинном полушубке. Старый, с заскорузлыми лапами, но с густой, длинной шерстью полушубок, выменянный мною у деревенской скотницы на габардиновый плащ, служил мне постелью и одеялом, спасал от ветра и мороза, а сейчас вот становился в тягость, и я не прочь был снова поменять его на что-нибудь полегче.

Наконец слева от большака показались высокие голые деревья и сырые драночные крыши Пятницкого. О том, что здесь была когда-то МТС, говорили низкие кирпичные строения, похожие на барские каретники. От них исходил холодный кузнечный запах. Шестью окнами на улицу смотрел рубленый дом конторы. Он походил на жилой: оттаявшие следы сапог на снегу, крайнее окно в ряду разбитых застеклено... Я прошел коридором и постучал в дверь. Мне отворил высокий худощавый мужчина в нательной рубахе, в черных бриджах, заправленных в яловые сапоги. В руке он держал помазок, одна щека была намылена, другая — в черной, с проседью, щетине.

— Проходи, — пригласил он запросто, словно мы были знакомы давным-давно. — Мне звонили о тебе. Закончу туалет, станем чай пить.

В углу стоял топчан, застланный серым суконным одеялом, в простенке — ящик, накрытый газетой, посередине — железная печка с трубой, выведенной в боковое окно. Я скинул сидор, разделся и подсел к печке.

— Ботинки повесь на трубу — мокрые. Под кроватью валенки, переобуйся.

Подпирая щеку языком, начальник политотдела с треском срезал недельную щетину. Мне еще нечего было брить, и я подивился, почему он так плохо смотрит за собой. Над топчаном на гвозде висел широкий ремень с наганом и черная диагональная гимнастерка с накладными карманами. Подворотничок на гимнастерке сверкал белизной. «Значит, ему, — подумал я, — не всегда удается даже побриться».

Потом мы представились друг другу по всей форме, то есть пожали руки, и я подал ему свой мандат. Начальника политотдела звали Николаем Евгеньевичем.

— Ну вот, — сказал он, приятно улыбаясь, — первый помощник есть. А то, понимаешь, замучился один, неделями не вылезая из деревень. Все сначала приходится начинать.

Выбритый, он выглядел моложе, ему можно было дать лет сорок. Худое, с резкими складками лица, белые виски и удивительно теплые, добрые глаза чем-то неуловимым напоминали мне отца, и я сразу проникся к нему доверием. В войну мы рано выросли, в семнадцать лет становились солдатами, а все равно тосковали — хотя ни за что не признались бы в этом — по отцовской руке, по отцовскому слову. Опыта, мудрого опыта старших, — вот чего недоставало нам, хотя, кажется, успели увидеть и понять много, даже чересчур много. Это я признаю теперь, с высоты прожитых лет, и думаю, что истинно повезло тому из нас, кто рос и креп рядом с отцом, своим ли, чужим — не важно.

Я не понимаю сегодня сына, который спешит поскорее отделиться от отца. Впрочем, суть не в отделении, а в отдалении. Нас жизнь тоже рано отделила, но мы не отделились, не отрунули духа отцов, жили им и продолжали его.

Ни о чем подобном я не думал тогда, в апреле сорок второго, просто было ощущение, будто после долгих скитаний я вернулся наконец домой, сижу, обутый в ботинки валенцы, перед теплой чугушкой и пью чай, заваренный малиной.

— Полежишь — пойдем обед добывать. Я тут у чухонки столуюсь. Бурт картошки раскопали, немного отнес к ней. Корова у нее уцелела, когда молока стакан плеснет. В остальном на подножном корму.

Лежать я не стал, обулся в волглые ботинки, и мы отправились добывать себе обед. В конторе была комната с зарешеченным окном, бывшая касса. Сейчас тут навалом валили трофейное оружие. Его подбирали жители окрестных деревень на огородах, на полях, на улице, вытаявшее из-под снега, и несли в политотдел, потому что другой власти в округе пока не было. Мы взяли по карабину, насыпали в карман патронов и пошли за деревню. Там на речке стояла старая мельничная плотина, то ли взорванная, то ли размытая, и на мелководье гуляли стайки уклеи. При каждом выстреле две-три уклеи переворачивались вверх брюхом и всплывали, мы вычерпывали их сачком из мешковины. Надо было лунить пулями в воду не менее часа, чтобы набрать рыбы на сковородку.

Не старая еще чухонка, которая жила недалеко от мельницы с двумя девчухами-близнецами, нажарила нам

на воде рыбешек и вытащила из печки чугуна картошки. Обед был роскошным.

Потом я устраивал себе угол. Взял сорванную с петель дверь, положил на два ящика — получилась кровать. Вытряхнул сидор, набил подопревшей ржаной соломой — вышла подушка. Матрацем и одеялом служил все тот же безотказный полушубок. Спалось сладко и крепко. А утром пошли на работу.

Работа наша называлась агитация и организация. МТС — одно лишь наименование: не было ни трактора, ни трактористов, даже директора не было. В барских каретниках, в бревенчатом клубе, в кабинетах конторы свистел восток. А весна шла. Вытаивали и начинали парить под ярким полуденным солнцем сугорки, забурлили ручьи. В деревнях рожь была посеяна только на огородах, поля лежали пустыми. Их следовало вспахать, засеять яровыми, а в колхозах — ни тягла, ни семян. Колхозы, распушенные немцами, только-только организовались вновь, но были неустойчивы: фронт гремел в каких-нибудь тридцати километрах и мог снова качнуться в нашу сторону. Мы, двое политотдельцев, должны были агитировать и организовывать крестьян на весенний сев под лозунгом «Хлеб — фронту».

Молодежь представляет себе войну просто: она там, где стреляют. Я тоже так думал. По утрам в легком морозном воздухе слышна была глухая канонада, и, вслушиваясь в нее, я думал: «Там война, а тут у нас, хотя и трудная, прифронтовая, но в главном-то обыкновенная жизнь». Мне еще предстояло убедиться, что засеять поле, не имея ни коня, ни зерна, ничуть не легче, чем без пушек, без пулеметов, с одними винтовками отбить у врага сопку. Пройдет совсем немного времени, и я пойму, что хлеб, кусок простого ржаного хлеба, — такое же оружие, как пушка, самолет или танк, даже более того, он движет всем этим грозным оружием. Я увижу, как за хлебную ниву, за то, кто первый ее сожнет, мы или враги, разыграется настоящий бой, и в том бою станут падать мертвыми мои товарищи. А много лет спустя в тиши архивных залов я буду читать донесения партизанских комбригов о проведении боевых операций под названием «Хлеб» и еще раз скажу себе: не одни мы были солдатами, солдатом была всякая женщина, вышедшая в поле с горстью семян.

Но все это придет потом, через недели, а пока мы с Николаем Евгеньевичем идем в деревню Воробьи на собрание. Он мне говорит:

— Лошади в некоторых деревнях есть. В Ручьеве один старик пять битюгов выловил. Немцы бежали, бросили. Он по лесам ходил, вылавливал. Деревня прячет. Где — неизвестно. В лесу где-нибудь.

Я не понимаю, почему деревня прячет лошадей. Он объясняет:

— По многим причинам. Во-первых, трофейные. Боятся, что отберут. Или заставят поделиться с другими, у кого нет ни одной. А деревня работать на соседей не большая охотница. Во-вторых, фронт. Кто знает, как там будет весной? Нажимом в таком деле ничего не добьемся, только убеждением.

И я в тот вечер увидел, что такое «добиваться убеждением». Изба была полна стариков и женщин, многие пришли с грудными детьми. На столе чадила коптилка. Сидели прямо на полу. Начальник политотдела объяснил обстановку: тракторы к весне ждем, но кто знает, сколько их придет и когда. На фронте затишье, надо верить, что погоним их дальше, но... война есть война. В чем мужик не может допускать ни малейших сомнений, так это в отношении поля: засеять или не засеять? Не нами сказано: «Помирать собирайся, а поле сей». Вопрос: чем? Надо посмотреть в свои сусеки. Вскрыть ямы и всякие схоронки, пока не подтопило водой. Затопит — семена погибнут.

Женщины начинают плакать. Как оторвать от ребят последнюю горсть зерна? Старики ворчат. На чем пахать-сеять? Одна заваливающая клячонка на всю деревню. В пятый, в десятый, в двадцатый раз Николай Евгеньевич повторяет одно и то же: хлеб родится один раз в году, бросить весной зерно — пожать осенью колос. Он говорит то, что мужик знает лучше нас. И все-таки говорит. Я начинаю улавливать, что между пониманием необходимости и решимостью действовать стоит некая преграда, преодолеть которую людям что-то мешает. Что? Извечная боязнь голода? Или... как отнять от себя? Или: «Я-то отдам, а другой утаит».

Не знаю. Наверно, все понемножку. Наверно, преграда сложена из разных кирпичей: боязни, недоверия, скупости, неуверенности и простого «авось». Кирпичную стену

одним ударом не пробьешь. Вот почему Николай Евгеньевич все долбит и долбит, выбивая один кирпич за другим. Он не может, не имеет права устать, передохнуть, отступить перед этой незримой преградой, пока она не рухнет совсем. На улице давно ночь, снят на руках матерей дети, старики выворачивают кисеты на последние закрутки, махорочный дым висит в избе слоистым пологом. У меня чугунная голова и свинцовые веки. Мне начинает мерещиться, будто кто-то прорубается к нам в избу, бьет и бьет киркой в кирпичную стену, — это стучит в висках тяжелая кровь. Я не уловил момента, когда стена дала трещину и упала. Председатель колхоза, пожилая женщина Клавдя, подвела в списке черту и объявила, что добровольных взносов в семенной фонд хватит, чтобы засеять яровой клин.

Мы заснули прямо на лавках. Утром Клавдя сказала, что семена начали сносить в амбар, и мы, позавтракав картошкой с огурцами, отправились дальше. В других деревнях повторялось то же, что и в Воробьях. За неделю такой агитации мы вымотались до последних сил. Я сумел отыскать пятерых девчат, сохранивших комсомольские билеты, и назначил комсомольское собрание в клубе МТС.

На обратном пути мы едва не утонули в озере. Отправились в дорогу, когда уже смеркалось. Слегка подмораживало. Идти было километров пятнадцать. Ближе к ночи небо вызвездило и мороз начал крепчать. Мы шли зимником — дорогой, проложенной напрямую, через озера. В апреле озера стоят еще крепко, опасны бывают лишь проточные. Невидимый ручей подтачивает лед снизу и грозит неосторожному путнику бедой.

Мы не знали местных озер, а ночью не разглядишь, какое оно: проточное или глухое? Шли по натопанному зимой следу, изредка прощупывая лед шестами. Идти по оттаявшей скользкой тропинке все равно что по бревну: ноги разъезжаются, равновесие держать трудно, то и дело оступаясь.

Над нами темное с мохнатыми мигающими звездами небо, вокруг смутная пелена озера, замкнутая черным кольцом лесов. Ни огонька, ни звука, один лишь хруст и шорох наших шагов. Я уже не в силах поднимать ноги, я их волоку, тяжелые, налитые свинцом и какие-то бесчувственные. Голод так не мучит, как усталость. К голоду мы привыкли, а к усталости привыкнуть нельзя: каждый

раз она новая. Сейчас вся усталость в ногах, она тяжело оседает в ступнях, поднимается по голениам, вот уже и колени не гнутся...

Так, с негнуцимися коленками, я и ухнул под лед. Сразу. Мгновенно. Не успел ни подумать, ни вскрикнуть. И обжигающего холода воды не ощутил. Только когда Николай Евгеньевич крикнул: «Палку под себя!» — и я почувствовал, как просовывает он мне под мышку свой шест, дошла, наконец, до тела вода и сдавила меня жгуче-холодными тисками. Давило как-то странно: до пояса. Я сообразил, что на чем-то завис и дальше не проваливаюсь. Мелькнуло идиотски-глупое сравнение: «Как поплавок». В эту же секунду рука Николая Евгеньевича схватила меня за воротник полушубка, и тотчас за спиной что-то хрустнуло, упало, я рывком изо всех сил рванулся вперед и грудью повалился на лед. Я лежал на льду лицом вниз по одну сторону полыньи, Николай Евгеньевич на спине — по другую, обломившийся под его ногами закраск льдины вынырнул и кружился в полынье. Мы начали отползать в разные стороны. Наконец сели, ощутили под собой лед, поднялись.

— Кинь палки, — сказал Николай Евгеньевич. — Они где-то на твоей стороне.

Только теперь я заметил, что полз на шестах. Я перекинул ему шесты, он, огибая полынью, перебрался на мою сторону, и мы побежали. На мне все залубенело, гремело жестяным грохотом, но надо было бежать, не останавливаясь ни на минуту, ибо никакое другое тепло, кроме собственной крови, не могло спасти. Я изнемогал, но, когда пытался остановиться, мой спокойный, выдержанный, терпеливый начальник вдруг обнаруживал такую ярость, какой я ни за что бы не предположил в нем. Он кричал на меня, как мужик на загнанную лошадь, и, я думаю, будь в его руках кнут, он хлестал бы меня кнутом.

Не помню, сколько мы бежали, наверно, не менее полдороги. Смутно помню и то, как отворила нам дверь чухонка и впустила в избу. Кто-то стаскивал с меня заковылявшую, словно панцирь, одежду, кто-то влил в меня стакан противной сивушной, но жаркой, как огонь, жидкости, кто-то посадил на печь. Дальше было душное беспамятство. Но вот что хорошо помню, на всю жизнь запомнил, — это просьбу моего начальника, высказанную на следующий день каким-то очень виноватым тоном:

— Ты уж извини, орал я на тебя. В жизни не кричал на человека, а тут... Мог бы на плечах нести, но принес бы труп...

3

Старый солдат Мокеич стал моим дядькой. Случилось это так.

После двухнедельной подготовки в запасном полку, который стоял в селе Ново-Бридино под Торопцом, нас слили в маршевую роту и повели на передовую. В прифронтовой полосе дневные передвижения запрещались, мы за ночь форсированным маршем проделали полсотни верст и очутились в лесочке, в котором расположился полк, только что вышедший из боя. Для пополнения его поредевших батальонов мы и прибыли.

Я попал в первую роту первого батальона. После построения нам скомандовали «Разойдись!» — и нас, безусую молодежь, окружили старики. Стариками на фронте солдат называли не обязательно по возрасту — через полгода, обстрелянный, понюхавший пороху, я тоже считался стариком, — но в тот первый фронтовой день нас окружили старики в прямом смысле. Меня «захватил» невысокий, коренастый, с широким добродушным лицом и натруженными руками крестьянина пожилой солдат.

— Будешь моим, — сказал он.

Я не понял.

— Как это — твоим?

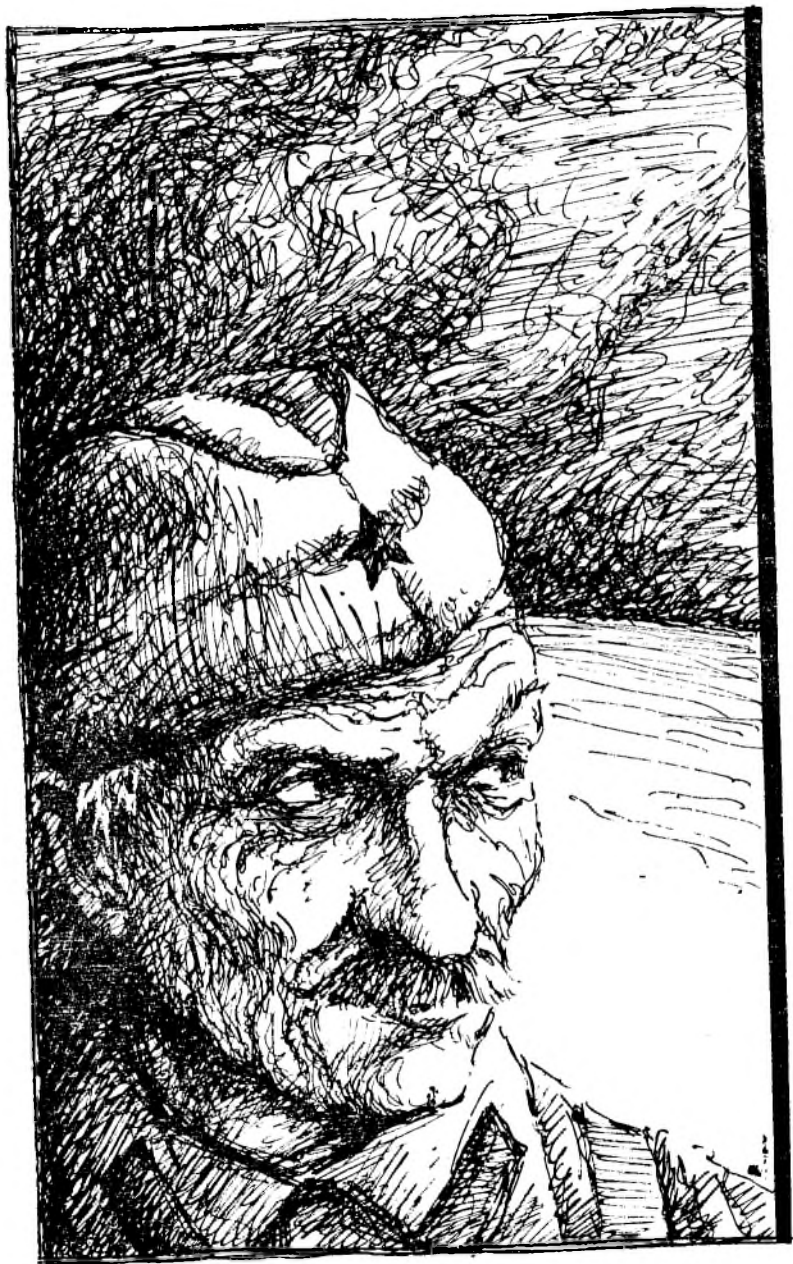
— А так: я тебе сахар, ты мне — табак. Ты ж не курящий?

На фронте был такой обычай: некурящие обменивают свою пайку махорки на пайку сахара курящим. А пайки такие: двадцать граммов махорки и сорок граммов сахара солдату на день. Заядлым «курцам», конечно, не хватало, они мешали табак с сушеным листом, мхом, травой донником, но это уже выходило по поговорке: на безрыбье и рак рыба.

Я подивился: менять сахар на табак? Вот чудак! И сказал Мокеичу, что так несправедливо, если уж менять, то грамм на грамм. Он засмеялся:

— Ужо поймешь.

Не пройдет и месяца, как слова его сбудутся.





Никому другому я не мог не то что променять — «за так» отдать свою махорку, это было бы нарушением обычая, сложившегося не на нашем фронте и даже не в эту войну, а, наверно, на десятке, а то и на сотне войн и переданного от солдата к солдату, как по цепочке, из глубины веков. Можно, конечно, посчитать это пустячком, есть, мол, в солдатских обычаях куда более значительные, ну хотя бы вот этот: сам погибай, а товарища выручай. Я не хочу делить обычаи боевого братства на значительные и незначительные. Для нас, когда мы стали солдатами, все, завещанное предками, было высоко, значительно и свято. Это особенное чувство, как я теперь думаю, шло от присяги. Когда перед строем товарищей произносишь «Я клянусь...», в душе совершается переворот. До каждой клеточки сознания во всей своей суровой ясности доходит истина: верность Отчизне — это не только не струсить в бою, не поднять руки перед врагом, не предать свой дом, где живут отец с матерью, это — честность каждого твоего поступка, предельная искренность каждого слова, это высшая порядочность во всем. Военская присяга — это очистительный огонь, в котором дотла сгорает все, что могло быть занесено в твою душу мелкого, эгоистичного, лицемерного, не порядочного, и который оставляет после себя сплав высоких и чистых чувств.

Что касается «махорочного обмена», я сказал о нем лишь потому, что это был первый обычай, с которым мы познакомились в первый свой фронтовой день, и еще потому, что в моей памяти он накрепко связался с дядькой Мокеичем. Так вот случается, соединит тебя с человеком какой-нибудь пустяк, застрянет в памяти на всю жизнь, и стоит ему повториться, как встает перед тобой дорогой человек и происходит в душе какое-то неясное смятение, словно бы ты где-то, когда-то слукавил чуть-чуть, отдал пайку табаку не дядьке своему, а кому-то другому.

Мы с Мокеичем стали расчетом ручного пулемета, я первым номером, он вторым, и не расставались ни на учении, ни на отдыхе. Рядом — в строю, рядом — в землянке, рядом — в очереди к кашевару.

На второй день, когда протянул он мне на ладони кусочки пиленого сахара, я отрицательно замотал головой.

— Ты чего? — удивился он.

Я сказал, что сахар от него брать не буду. Махорку отдаю, а сахар отныне не беру.

— Ну и зря. Ты молодой, тебе для роста нужен. Рост-то у тебя не гвардейский, а?

— Малый рост — малая мишень.

— И малый окоп, любая ямка укроет. Ну, ладно, заверну покамест. Свои далеко, чужих угощу. Не видят детишки сладкого.

И стал Мокеич заворачивать свои пайки сахара в уголок чистой бязевой портянки и, когда случалось нам проходить жилые деревни, угощал ребятшек.

Курил Моксич страсть как много. Две пайки — это осьмушка махорки. Крепчайшей бийской махорки под названием «вергун» ему хватало на полдня. Он разбавлял ее мхом. Мох крошился в кисете, превращался в пыль, и сигарка во рту Мокеича трещала и сыпала искрами, как самоварная труба. Беда была и с бумагой, политрук давал на взвод один экземпляр «дивизионки», и, пока эта крохотная газетка обойдет все отделения, от нее остаются рожки да ножки. Мокеич приспособился курить патронные картонки. Патроны упаковывались в небольшие — на пять винтовочных обойм — коробки, формой похожие на подсумок. На пулемет таких коробок нужны были сотни. Мокеич, набив диски к пулемету, картонки собирал и тер в руках до тех пор, пока они не становились мягкими, затем расслаивал их и сворачивал гармошкой. Иногда я брался помогать ему. Работа напоминала стирку заскорузлых штанов из «чертовой кожи», которые шили нам в детстве матери и в которых мы безбоязненно лазали по заборам и деревьям.

— Осваивай, осваивай, — посмеивался Мокеич, видя, с каким ожесточением тру я проклятые картонки. — Пригодится. Солдатская наука, брат, наполовину из пота и мозолей состоит.

Скупой на разговоры, Мокеич становился словоохотливым, когда дело касалось солдатской науки. Он утверждал, и я скоро в этом убедился, что солдатская наука наполовину, если не больше, состоит из крестьянской работы и крестьянских навыков. Уметь навернуть на ногу портянку, совершить марш-бросок на тридцать километров и быть «в форме», рыть землю, рубить землянку, спать на голой земле, не промокнуть под дождем, не замерзнуть на морозе, сварить суп из топора, выжать воду из камня,

побриться шилом, согреться дымом — все эти в общем-то знакомые нам навыки доводились на войне до такой степени совершенства, при которой про солдата говорят, что ему сам черт не брат. И гранили в нас эти умения не только взводные и ротные командиры — в сорок втором они обновлялись после каждого боя чуть ли не полностью, — сколько такие вот бывалые солдаты-дядьки.

— Окоп — твой дом, землянка — дом, куст, под которым ночевать собрался, — дом. Значит, устраивайся, как дома. Это усвой твердо, — наставительно говорил Мокеич, когда я делал что-нибудь наспех.

А если разговор заходил на перекуре, то он не прочь был порассуждать и «вообще»:

— Какая бы ни выпала в жизни работа, делай как домашнюю. Домашняя работа всегда желанная и приятная, оттого и легкая. Я особенно за скотиной любил ходить. Живая тварь, что ты хочешь! Ну и земля, скажу тебе, не безгласная, не-ст. Умеет с человеком говорить, если он, конечно, со всем к ней пониманием. Вот хотя бы эту пору взять, весну. Приспело сеять али нет, как допытаться у земли? Ну, глазом поглядеть, рукой пощупать — это дело известное. А мой дед голым задом пытал. Истинно тебе говорю, мальчонкой бесштаным был, брал он меня в поле, рядом с собой посадит и спрашивает: «Ну как, стыло, чай?» Ежели стылость не идет из глубин, значит, завтра выезжать. Вот они, дела-то. Ну, теперь это, конечно, глупость, теперь агроном градусник торкнет — и готово, как на ладони, а дедов прием забывать не след. Лежишь ты вон под кустом, а чувствуешь ли, холод в тебя идет или тепло? По весне полежать выбирай сугревную сторону, летом — закатную. Земля — такое, брат, дело: может в гроб вогнать, а может и из гроба вытащить.

Сентенции Мокеича бывали порой и смешны и наивны, вот как эта, насчет дедова приема, но слушать его было истинным удовольствием. Особенно проникся я к нему симпатией, когда он растолковал мне мой сон. И вот чего я до сих пор объяснить не могу: за тридцать лет после войны много раз снились подобные сны — и всякий раз выходило по Мокеичу.

Мы рыли траншею на второй оборонительной линии. Изредка залетали к нам шальные снаряды. Жарило солнце, пот тек ручьями. От взводного прокричали перекур. Курильщики задымили, охотники до баек сгрудились под

кустом, я взялся протирать пулемет. Открыл затвор и вдруг вспомнил утренний сон.

— Мокеич, — говорю, — ну и сон мне приснился: так из пулемета жарил, на всю катушку.

— Письмо получишь, — мигом растолковал он.

— Ну-у, вот уж этого никак не может быть. Не от кого мне писем получать, Мокеич.

— Известие будет непременно. И вскорости, потому что сон на понедельник.

После обеда ротный писарь принес почту и выкрикнул мою фамилию. Я и с места не двинулся: мне писем не должно быть; наверно, однофамильцу.

— Остолбенел, — засмеялся какой-то шутник, и ко мне по рукам пошел пакет.

Столбняк прошел, и я разглядел на конверте обратный адрес: от Николая Евгеньевича. Вот уж не думал, что занятый по горло начальник политотдела станет писать мне письма, да еще такие объемистые.

В пакете было не одно, а сразу три письма. Мои старые райкомовские друзья, выйдя из партизанского края через фронт, обнаружили в обкоме комсомола мой тыловой адрес. Их письмо пошло в Татарию, но меня не застало. Девушка Валя со своей припиской переслала его в Торопец, оттуда Николай Евгеньевич со своим приветом направил пакет на полевую почту. Обрастая, письмо ходило ровно полгода и нашло адресата в тот понедельник, в ночь на который ему приснился сон. Мокеич был рад за меня.

— О родителях-то что-нибудь сообщают?

— Деревня, пишут, стоит, каратели пока не трогают. А вот Стегу сожгли. Со всем народом. Школьники оттуда в школу к нам ходили.

— Как это... с народом? Людей, что ли, жгут? Ребятишек? — в полном недоумении переспрашивал Мокеич.

— Да вот читай сам. «И ребята, которых ты учил, тоже... А всего сто сорок пять человек...»

— Ох! — взялся за сердце Мокеич. — Зверье!

Тридцать лет спустя, будучи уже журналистом, я изучал в архиве донесения калининских партизанских бригад и нашел среди бумаг акт о зверствах фашистских карателей в деревне Стега. Я прочел скрупулезно изложенные подробности трагедии, весь скорбный список имен, вспоминая и учеников своих, и их отцов-матерей, и красивую

в два посада деревню, и ничего больше не мог делать, ушел из архива и до сумерек бродил по набережной Волги.

О письме из партизанского края, так неожиданно залетевшем на фронт, узнал политрук и велел мне читать его по всей роте. Это было в те дни, когда Совинформбюро перестало передавать сводки из осажденного Севастополя. На нашем фронте тоже произошли перемены: враг замкнул кольцо вокруг соседа слева — 39-й армии. То были зловещие аккорды прелюдии к неслыханной битве на юге. Мы получили приказ наступать.

Перед боем выдали НЗ — сколько-то сухарей и сахару и по две осьмушки махорки. Моксич от меня махорку не взял, сказал: «Не полагается». У него был еще мешочек самосада. За те дни, что мы стояли во втором эшелоне, он успел нарвать в брошенной деревне табачных листьев, высушить на солнце и нарезать. Я подумал, что Моксич куревом обеспечен, и сунул махру в свой сидор.

— Достань, — тоном приказа сказал Моксич. — Нельзя так. Бумага не выдержит там. Перемешается табак с хлебом. Возьми вот. И держи в кармане.

С этими словами он опростал свой кисет, вывернул, выколотил о колено махорочную пыль. Потом полез в мешок, достал запасной трут и кресало, опробовал и все вместе подал мне.

— Для комплекта. Положено, брат...

Бой был тяжелый. Перед ничтожной с виду сопочкой рота топталась три дня и три ночи. Эта ничтожная бородавка на земном лице, начиненная пулеметным и автоматным огнем, оставила от роты шестнадцать человек. Взяла она и моего Моксича.

Мы залегли в реденьких кустах. Только я установил пулемет, как они пошли в контратаку. Я расстрелял все диски. Моксич поспешно набивал, но патроны кончились, и надо было ползти за новым боезапасом. Контратаку отбили, установилась короткая тишина, и Моксич, сказав: «В самый раз», короткими перебежками побежал на пункт боеспитания. Минут через десять разорвался один снаряд, второй — и посыпались отовсюду осколки, словно черт их тряс из мешка. Стоял непрерывный свист осколков. Помня наставление Моксича, что уходить из-под огня надо в сторону противника, я выдвинулся вперед и угодил в чей-то окоп, рытый явно не на мой

рост — я скрылся в нем с головой. И было в самый раз: в следующую минуту снаряд разнес мой пулемет.

Очнулся я, когда стояла полная тишина. Солнце село, с закатной стороны тянул легкий ветерок, вместе с ним в окоп проникала тротиловая вонь. Я позвал Мокеича. Он не отозвался. Вылез из окопа и пополз по его следу. Зеленая луговина была сплошь перепахана, кусты выворочены и изрублены. Я узнал своего дядьку по заплечному мешку. Мокеич лежал ничком, прижимаясь левым ухом к земле, будто слушал что-то. Бреющий осколок срезал ему всю левую сторону груди. Смерть была мгновенной.

Ночью остатки роты вывели из боя. В лощине, у походной кухни, до моего сознания дошло наконец, что я прошу закурить. Мой кисет был пуст. До сих пор не могу вспомнить, в какую минуту свернул я первую в жизни сигарку.

Кисет дядьки Мокеича я носил долго, пока не исчезла из продажи махорка, и тогда уж положил его в ящик стола на вечное хранение.

4

По возвращении с войны я получил школу. Учительский опыт у меня, хотя и небольшой, был, директорского — нисколько. Не так, конечно, чтобы совсем ничего не умел, на войне все-таки и взводом командовал, и ротой, но на войне одного не постигнешь — как хозяйство вести, а тут именно это в первую очередь и требовалось. Я стал в тупик: где раздобыть тесу на парты и столы? Кругом все разбито, разрушено, лошадей — по две клячи на колхоз, лесопилки нет, рабочих рук тоже.

Пошел в сельсовет, к Матвееву. Интересный был человек наш председатель. Захожу в избу — сидит за некрашеным, непокрытым столом щуплый мужичонка, во рту сигарка, толстая, как Черчиллева сигара, глаза щурятся, губы в усмешке. На плечи накинута длиннополое пальто, под ним гимнастерка, из-под стола крестом торчат стоптанные кирзовые сапоги.

Меня смутила его усмешка. Сперва подумал, что это от настроения у него: засела какая-то мысль в голове, занятая, но не так чтобы веселая, вот он и усмехается ей. Потом, гляжу, занятность его не проходит, о чем бы ни говорил,

все с усмешкой. Неловко с таким разговаривать, сдается, что он тебя всерьез и не принимает.

— Пола в классах гнилые — ногу сломаешь. В учительской стола нет, на подоконниках пишем.

Я избираю тактику — поярче изобразить школьные неудобства и нехватки. По хозяйственной статье школу финансирует сельсовет, думаю: «Попросишь больше — хоть что-нибудь да отколетса». Но у Матвеева свой ход, для меня совершенно неясный.

— Ваське хваталовскому бычка разрешил держать. Весной в хомуте ходил. Года нет, а плужок тянул. Справный вол.

Про бычка и про Ваську я пропускаю мимо ушей, продолжаю свое:

— Парт мало, придется по трое сажать. Как хочешь, а кубов пять тесу надо.

— У Васьки инвалидность, свободный человек.

— Пять — это на первый случай, а вообще-то и десять — лишку не будет.

Он как прилепил сигарку к нижней губе, так и не снимает. Окурок чадит в глаза, Матвеев щурится, валит голову набок и глядит куда-то в запечье, на закопченный угол потолка. Кажется, и говорит не мне, а кому-то невидимому в запечье:

— Лесника Орехова знаешь? Покладистый мужик, в деревнях помаленьку строятся.

— Мне не лесник нужен, а тес.

— Тес в лесу растет. Ставка завхоза свободная. И Васька свободный.

— Да хозяйства-то еще нет, чего завхозу делать?

— Завхозу работы нет, зато бычку есть.

Я начинаю понимать, куда клонит Матвеев. Ваську хваталовского взять завхозом, но работать в основном будет Васькин бычок — ходить в лес за бревнами, которые придется воровать у покладистого лесника Орехова. А кто поедет воровать? Наверно, тот, кого припекло. А припекло больше всех директора. Вот такие, значит, пироги.

От сельсовета до школы километр. Их разделяет петлистая речонка Ашевка. Я иду лугом, машинально считаю шеломовидные стожки сена — в сумерках они похожи на сказочных витязей, — и в голову лезет всякая дурь и мальчишество: «Ну-ка, богатыри, сходите в лес дремучий,

принесите по лесине могучей, распилите на тесины гладкие да сколотите нам парты крепкие...»

Вспоминаю, как валили лес на фронте под Велижем. На рассвете батальон рассыпался по опушке, а к ночи цепь дзотов глядела узкими бойницами в сувалистое поле. Как не подивись силе солдата: прикажут черту рога обломать — в точности исполнит. И главное — ни капли сомнения, выполнимо или невыполнимо. Прищурится, крикнет, на руки поплюет — и пошел писать хоть ружьем, хоть топором. Может, потому и усмехается Матвеев, что насквозь видит своего кореша: надо — сделаешь.

А и правда, если б люди ссылались на причины, так и хлеба не сеяли бы. Причины ищут тогда, когда знают, что можно как-то обойтись. Если же встало немолимое «надо», ни на что не поглядишь.

Я сворачиваю с тропины, перескакиваю через ручей и напрямик иду в Хваталово, к Ваське, договариваться насчет бычка. Одноногий Васька понимает меня с полуслова:

— Можно, чего там...

Я догадываюсь, что у них с Матвеевым есть какая-то договоренность. Забота о школах, медпункте, избе-читальне на плечах сельсовета, а у сельсовета, кроме скудных копеек, ничего нет, вот Матвеев и придумал «Васькину контору». Меня это мало интересует, я должен шестьдесят рублей завхозовского оклада превратить в новые парты, поэтому без долгих разговоров велю завтра к вечеру заложить бычка.

— Слушаюсь, — по-военному отвечает Васька и добавляет: — Хлеба не забудь в карман положить. На случай бычьего упрямства.

Наступил вечер первого августа. В моем распоряжении месяц, за это время я должен поставить в классы новые парты. Ничего другого для меня не существует.

Васька запряг бычка в роспуски, дает мне кнут и говорит:

— Подстегивай, не стесняйся.

На роспусках сидеть неудобно, я иду сзади, стараясь приноровиться к медлительному бычьему шагу, а самому невтерпеж, обгоняю подводу, потом спохватываюсь, гляжу назад — бычок преспокойно пасется в стороне от дороги. А, чтоб тебя волки съели! Нахлестываю кнутом — выбиваю пыль из воловьей шкуры, а подвода ни с места.

Даю кусок хлеба, бычок, зажмурив глаза, жует, тянется к руке, я отодвигаюсь, он за мной — слава богу, стронулись. Управление по методу кнута и пряника вгоняет меня в пот, я выдыхаюсь, еще не добравшись до делянки, и наконец-то на меня находит озарение: надо запастись воловьим терпением.

Вырубая хворостины, кладу на роспуски, усаживаюсь, подобрал ноги под себя, руки на колени, взгляд поверх бычьих рогов на бледную звезду над лесом — и начинаю входить в состояние буддийского монаха. Меня уже не волнуют парты, не раздражает медлительный шаг бычка, я замечаю теплые синие сумерки, слышу, как в стороне, в овсах, бьют перепела, и чувствую, что в груди копится, разрастается, просится наружу что-то томительно-неясное, зыбкое, как все вокруг: и мреющий на горизонте лес, и мерцающая бледным светом звезда, и тоскующий крик перепелов, — и неожиданно для себя начинаю, как татарин в степи, долго и протяжно тянуть «а-а-а-а». Песни, выученные на войне, сейчас не к месту, других не знаю, вот и тяну, и тяну одно бесконечное «а-а-а», оно выражает, изливает все, чем полна душа. Я вышел из этого первобытного состояния только тогда, когда бычок остановился перед толстой разлапистой осиной.

— Э, да ты уже научен, — сказал я бычку, медленно и неохотно настраиваясь на главную свою заботу.

Леса, в сущности, нет, его опустошила война, а то, что уцелело и годилось в стену избы или сарая, успели подчистить вернувшиеся с фронта мужики. Мне предстоит из ничего выбрать что-то, из чего удастся выпилить хотя бы тесину. Беру топор, лучковую пилу и углубляюсь в мелко-лесье. Сейчас можно не опасаться: лесник не нагрянет. Орехов ходит не по лесу, а по деревням — там ищет порубщиков. Он наперечет знает, в какой избе завелся мужик, а раз завелся, значит, строиться начнет, — прямехонько и шествует к нему. Бревно ведь не скрешь, оно на придворке брошено. Откупайся, хозяин, выставляй бутылку и жарь яичницу. В предвидении визита Орехова я тоже заготовил откупную.

За десять дней я приволок на школьный двор десять бревнышек, на одиннадцатый, в полдень, явился Орехов. У него поразительное чутье, он точно знает, к кому и когда надо явиться. Он отмеривает каждому нуждающемуся ровно столько, сколько надо, чтобы залатать первую нужду,

и, появляясь с полевой из кирзы сумкой, как бы подводит черту: взял, и довольно.

Из окна учительской я увидел длинного рыжего мужика в солдатских шароварах, в полинялой косоворотке, остановившегося у штабелька бревен. Минут пять он стоит столбом, не пошевелив ни рукой ни ногой, пытаюсь, вероятно, узнать бревна «в лицо» — есть у лесников такая способность. Потом передвигает с бока на живот кирзовую сумку, достает линейку и начинает замерять бревна в отрубке.

«Так, — говорю я себе, — возмездие явилось. Отделаюсь бутылкой или придется обе выставить?» По личному распоряжению сельповского начальства мне продали в магазине в виде исключения две бутылки водки, но впереди у меня еще договор с пильщиками, с которыми «на сухую» тоже каши не сварить.

Орехов делает свое дело, даже мимолежного взгляда не кинув на окно, делает неторопливо, без суеты, с какой-то завораживающей торжественностью, словно исполняет ритуал. А тут я наконец понимаю, что это спектакль. Все трое — Матвеев, я и Орехов — мы играем скучную пьесу, роли в которой определены обычаем, и изменить, переиначить их нельзя. Сообразив это, я инстинктивно угадываю свое поведение. Мне надо не замечать Орехова, не торопиться с выходом, пожалуй, даже вовсе не следует выходить навстречу, а сидеть и ждать в полном и невозмутимом спокойствии.

И я сижу на скамейке, спиной к окну, перебираю стопку учебников, прикидывая, как разделить десять книжек на четырнадцать деревень. В те годы учебники распределяли не по классам, а по деревням: есть в Федове или Брылине восемь — десять пятиклассников — им учебник целиком, а если четыре-пять, то один на две, а то и на три деревни. Так что уроки готовили не по расписанию, а по тому, какой день выпадал деревне: грамматический, исторический, ботанический... И ничего, знания у ребят были отменные.

Ушел я в дележку с головой и про Орехова забыл. Входит он в учительскую, здоровается, но руки не подает: не положено представителю лесной охраны жать руку порубщику. Сейчас я для него не директор школы, а самовольщик. Поэтому я не чинюсь, поднимаюсь навстречу со смиренным видом и, извиняясь за скромность обстанов-

ки — в голой комнате одна скамейка, — уступаю ему место. В душе посмеиваюсь: погляжу, как ты тут свою канцелярию разложишь. А забыл, что лесник не учитель, ему и пня достаточно. Он пристраивает сумку на колено, крупно и кругло выводит: «Акт на самовольную порубку в урочище Боровины гражданином...»

«Ну, уж это ты, брат, переигрываешь! Где твои Боровины, а где порубка». И я заявляю протест:

— Не подпишу. В Боровинах не был.

Мой ход, видать, не по правилам. Орехов дергается, сумка соскальзывает на пол, надо нагибаться — получается, будто кланяется. С досады он заикается:

— И-иде ты был?

Порядок нарушен, я продолжаю усугублять дело.

— Я вообще в твоём обходе не был. Откуда ты взял? На бревнах не написано.

В глубине его зрачков мелькает сомнение, но только мелькает. Голос строжее:

— Меня на пушку не возьмешь. Мой обход до Финькова.

— За Финьково я и ездил. За переездом по Шиловской дороге рубил.

— Врешь. До переезда Васькин бычок ноги протянет. А по Шиловской дороге — ельник. На столы-то елку бы и надо.

— Чего ж ты позволил у себя ее вырубить? На Боровинах такие елки стояли!

— До войны. — Он вдруг вздыхает. Как человек, которому больно.

У меня шевельнулось что-то вроде сочувствия.

— Ладно, — говорю я, возвращаясь в положенную мне роль, — будет кособочиться, пойдём в квартиру, там стол есть.

Мне все-таки охота расквитаться. Пока идем коридором, говорю:

— Не бываешь ты в лесу, Орехов. За подсосенскими овсами я рубил. Перепиши бумагу.

Дальше разыгрываем спектакль с переменным успехом: то он выводит свою роль в заглавные, то я. Нам не хватает третьего. По всем правилам должно бы появиться третье действующее лицо, потому что дело идет к финалу: Орехов опорожнил бутылку и как ни в чем не бывало продолжает писать акт. Надо либо выставить другую,

либо... платить за бревна в двенадцатикратном размере — три директорских оклада!

В квартире душно. За круглым «чайным» столом на единственной табуретке сидит Орехов, слюнит химический карандаш, чтобы покренче вывести сумму штрафа. На лбу у него пот, рыжая нечесаная башка набок, кончик языка высунут — с прилежанием работает, дьявол! Я отхожу к окну и... И вижу Матвеева: руки в галифе, на губе окурок, глаза вприщурку — тоже разглядывает мои бревна. А, чтоб вас, мало мне одного контролера, второй явился! Этот критиковать будет: путной лесины не мог вырезать.

— Подписывай, — говорит за спиной Орехов. — Да пойдут я, в Брылине двое ждут.

Матвеев топает по коридору. Я лезу под кровать, достаю бутылку, оставляя покрывало откинутым, чтобы видно было, что под кроватью пусто. Подгадываю так, что, только дверь отворится — ставлю бутылку прямо на «акт». Матвеев оценивает мой жест, губы его кривятся в усмешке.

— Не продешеви, Орехов. Лесины, будь здоров, только в печку и годятся.

Второго гостя посадить не на что. Выдвигаю фанерный чемодан, ставлю перед столом на попа. Сам пристраиваюсь на подоконнике. Мне даже весело: все как по писаному, нужен третий — вот он, третий. Сейчас скажет: «Разливай, что ли. Обмоем твои парты, чтобы не рассохлись».

Матвеев, загадочно усмехаясь, поглядывает то на меня, то на Орехова. Орехов невозмутим, после целой бутылки у него, что называется, ни в одном глазу.

— Богу богово, кесарю кесарево, — говорит Матвеев и, отодвинув бутылку, косится на трехзначную сумму под чертой акта.

Я встаю с подоконника. Неожиданно голос у Матвеева меняется, усмешка исчезает:

— Убери! Завтра пильщики придут — угостишь. А этому, — кивает на Орехова, — хватит. Совесть надо иметь.

— Ха! — Орехов смеется, встряхивая рыжими лохмами. Улыбка у него на удивление открытая и приятная. — За рамки не выходим, председатель.

— Не выходишь, пока следом хожу. А то зарвался бы.

— Оно, конечно... Дело такое, при законе состоим, со-

блани есть. Но... — Орехов подымается, опираясь на стол, и будто невзначай накрывает ладонью «акт», комкает и сует в карман. — Честь соблюдаем. В Брылино, председатель, не ходи. Пустяки там: Митька на подруб уволок да Лягушатник — строила на хлев.

— Бес, а не мужик, — ворчит Матвеев вслед леснику и, достав кисет, начинает сворачивать махорочную сигару. — Пильщикам вели на дюймовку пилить — столы сколотим. Парты не выйдут, не с чего. Год как-нибудь, а там промкомбинат наладит. М-да... Вот работенка, понимаешь. Как ты насчет этого мыслишь?

— А чего тут мыслить? Ребят на пол не посадишь.

Матвеева, как видно, заботит другое.

— Паразит он, в сущности. «При законе состоим»... То-то и оно. А нам с тобой по закону нельзя.

— Без закона тоже.

— Без закона было б — кто хват, тот и хватъ. Значит, все-таки правы?

— Вон что тебя беспокоит! Конечно, словчили. Выкрутились. Так из этого жизнь и состоит.

— Жизнь, говоришь? Значит, и после нас будет? Ты вот учитель, директор. Как ребятам объяснишь?

— Так и объясню: не поехал бы в лес, сидели бы на прлу.

— Во! — Палец Матвеева пистолетным стволом вскинулся в мою сторону. — Мы грешим ради вас, вы будете грешить ради ваших детей. Когда же оно кончится?

— Никогда.

— Врешь! Кончится! От бедности это. Обживемся, забогатеем, всего станет вдоволь — и кончится. Само слетит. Как лишай со скотины. Пригнали нам телок по весне — все лишайные. Лето походили по траве — очистились. На здоровом теле паразиты не живут, они на тощих наваливаются.

И такая убежденность была в его голосе, в глазах, во всей щуплой неказистой фигуре, что я поверил: да, от разрухи, от нищеты все эти «гримасы». И как же больно произнести мне сейчас, тридцать пять лет спустя: «Вот и забогатели мы, Матвеев, а все еще в лишаих ходим. Не сваливаются они сами собой — соскрести надо. Безжалостно, не щадя шкуры, сдирать».

Я приехал в Калинин и по старой памяти зашел в редакцию областной газеты. Мой знакомый был дежурным по номеру, читал полосы. Развел руками:

— Запарка.

— Понял,— сказал я и хотел было удалиться, но он остановил:

— погоди. Столько не виделось! Посиди рядом. Хочешь, почитай вот это письмо...

Он вынул из папки и подал мне тетрадный листок, исписанный с двух сторон крупным женским почерком.

Я прочитал. Долго сидел в каком-то оцепенении. Не мог уразуметь, как же это так: человек по собственной воле погибает и кричит: «Спасите!» Прочитал еще раз. Кажется, начал понимать: заела совесть.

Дежурный взял полосы и ушел в типографию. Я ходил по кабинету и раздумывал, представляя себе автора письма и все, что с ним случилось.

На стене, наколотая на гвоздик, висела уже подписанная к печати четвертая полоса номера. Машинально обещал ее взглядом и на одном столбце задержался. В тесном, набранном петитом тексте выделено курсивом письмо из далекого далека. Слова его обжигали, словно раскаленные угли. Там тоже погибал человек, и помочь ему было нельзя.

В руке письмо и перед глазами письмо... Я чувствовал, что между ними есть какая-то связь, но какая? Разве можно ставить их рядом? Там, в далеком далеке,— величие духа, мужество и вера, героизм и негибимая воля, там — смерть во имя Отчизны, во имя нас, живущих. А тут... А что тут? Погибает безвольный человек, да и не в буквальном смысле погибает...

До сих пор не знаю, вправе ли я ставить эти письма рядом. Не приди они ко мне вот так, разом, в какие-нибудь пять минут, ни за что не додумался бы мерить одно другим. Но коль случилось, пусть будет так. Пусть будут рядом.

Итак, письмо... То, что в руках. Писала женщина. Похоже, молодая. Семейная. Достаточно грамотная. Совестьливая. Ни имени, ни фамилии не указывает. Единственная координата — кондитерский цех столовой. Придумаем имя

сами, ну, скажем, Светлана. За совестьливость дадим ей красивое имя.

Светлана пишет:

«Обращаюсь к вам с великой просьбой: помогите мне и нашим работницам, хотя многие этого и не хотят, стать людьми. Дело в том, что мы занимаемся... расхищением народного добра. Нам кажется, все это хорошо, но если вдуматься, то становится страшно, до хорошего это не доведет.

Закладку сырья ведем из расчета, чтобы всем хватило взять домой, а сколько мы берем, можно посчитать. Первой затариваем начальника цеха, она не брезгует ничем, лишь бы побольше. Второй — тетю Шуру, о ней знают все, что она обманщица, хвастается, что пережила всех начальников, да и как не пережить с ее нахальством! Ей не дашь — все равно украдет или обманет, она с пустой сумкой домой не пойдет. А остальное — нам всем. И мы кормим свои семьи.

Я боюсь назвать свою фамилию, но боюсь и жить так, похожей на воровку. Я только начинаю жить, и если я буду в этом коллективе — это страшно, хотя и легко: ничего не надо покупать в магазине. Помогите нам стать честными людьми, пресеките это безобразие, мы очень далеко зашли, нам не остановиться...»

Да-а, это уже не просьба, это — крик о помощи.

Нетрудно представить, как начинала Светлана. Поступила в кондитерский цех работницей. Думала, ну что ж, работа как работа, не хуже других, все, что станет делать, — для людей. Изготовит хороший торт — кто-то купит, может, на семейное торжество, может, к встрече друзей, может, одинокая старушка к чаю с пенсии возьмет, у всех будет радость, и к этой радости будет причастна она, Светлана. А иначе ведь и жить нельзя: я делаю для другого, другой делает для меня, честно, без обмана, от всей души.

И вот первая закладка. Светлана видит: недоложили сахара, недоложили масла, яиц, того-сего, она в недоумении, ей неудобно, у нее такое чувство, будто украла что-то у человека, отняла, обманула. А перед уходом домой ей подают ее долю: кусок масла, кулек сахара, пяток яиц... Отказаться? Возмутиться? Бросить на стол со словами: «Не возьму! Это нечестно, гадко!»? Но какое спокойствие кругом! Женщины довольны, улыбаются, желают друг

дружке доброго вечера, унося полные сумки с сознанием хорошо и честно поработавших людей. Никому не жжет руку набитая украденным сумка.

Заметила растерянность новенькой тетя Шура, спросила с улыбочкой: «Корежит? — Подмигнула глазом разбитной торговки: — Ничё, дева, стернится — слюбится. Муженька-то чем будешь кормить?»

Да, подумала Светлана, сумки хватит и на ужин и на завтрак. Не надо в очередях стоять, пятерка в кошельке останется.

Не возмутилась, не бросила. Не устояла перед соблазном. Назавтра то же. Послезавтра то же. *

Стерпелось. Но не слюбилось. Выходит Светлана из цеха, и все ей кажется, что смотрят люди на полную сумку в ее руках и знают, что там. Идет через двор, поднимается по лестнице — встречные соседки косятся на сумку, думают, опять несет. Отворяет дверь в квартиру, выкладывает кульки — муж и сын ждут: принесла. Не поднять Светлане глаз, не поглядеть прямо и открыто в глаза прохожим, соседям, сыну. Стыдно. Стыд становится ее состоянием, он пригибает голову, словно бы ужимает плечи, хочется поскорее прощмыгнуть незамеченной, неузнанной. И мучит совесть: кусок-то чужой, от другого отнятый. И страх: а вдруг остановят, вдруг спросят: «Откройте-ка сумку, что там у вас?»

О боже, что за жизнь! Погибаю, на дно иду, и нет сил остановиться. И жутко, и сладко! Ведь как просто жить: никакой заботушки, зарплата целиком в кармане, можно позволить себе купить кое-что из роскоши. А совесть все точит и точит, нет от нее покоя, надо что-то делать.

И настала минута — вырвала из тетрадки лист, написала людям письмо. Первый шаг сделан. Шаг к спасению в себе человека. Трусливый, но все-таки самостоятельный, продиктованный совестью...

...Взять немножко... От большого — чуть-чуть, самую малость, кроху... Отщипнуть, отколушнить... На всех — пустяк, на одного — кое-что. Морю — капля, моллюску — водоем. Маляр — банку краски, прядильщица — моток пряжи, повар — кусок говядины, плотник — тесину... С мясокомбината — палку колбасы, с молокозавода — головку сыра, с моторного — запчасть, с пекарни — батон... Несут. Отщипывают. Понемножку, по крошке.

И превращаются в несунув. Уже появилось, прижилось слово — н е с у н ы.

Берут не в одиночку, поэтому не таятся. Тайком пеловко, похоже на воровство, в открытую — что-то вроде дележки. Брать на глазах — это ведь от уверенности, что товарищ не остановит. Остановить может «служебное лицо», но не товарищ. Возникает порука, атмосфера терпимости — и рождается привычка. Привычка формирует характер. Понемножку, но постоянно. И уже зуд в руках: не несу — словно бы не хватает чего, не взял — будто дело недоделал.

Вспоминаю случай. В деревне начинали выбирать товарищеские суды. Федор Васильевич, колхозник уже в годах, из тех деревенских правдолюбцев, которые любят доканываться до корня, разговорился:

— А вот, слышь, скажу тебе, как на духу. Выбрали меня председателем этого самого суда, товарищеского, значит. Я себе и думаю: на кой ляд затеяли? Сам подумай, как я стану соседа судить? Мы же полста годов бок о бок живем, знаем друг дружку насквозь и глубже. Ерундовое дело, чего там! Так это я раздумывал. Ну, а люди-то идут. С жалобами. Первым дело, конечно, бабы, эти на мужиков своих, пьянчужек, просят воздействовать. Дело полезное, чего говорить. Пьянка ни с какой стороны одобрения не заслуживает. Но это все ж таки семейное дело. А вот как с таким делом быть, скажи? Авдотья Соломина ведро муки взяла. Кормодробилка у нас поставлена, на ферму зерно мелет. Авдотью к дробилке нарядили. День отстояла, домой идти — ведро мучицы прихватила. Вызвали, значит, для объяснения. Спрашиваю: «Как же так, Авдотья? Знаешь небось, как это называется?» Она мне отвечает: «Чего, Федор, ума пытаешь? Я всю жизнь с поля иду — хоть щенку под мышкой, а домой несу. Али ты никогда хозяином не был?» Понял, чем пахнет? «Хоть щенку под мышкой, а несу»... По-хозяйски ить, а? Мужик-то иначе не жил, все в дом, все в дом... Со своего поля в свой дом — это хорошо, это похвально, а с общего в свой — это как? Вот и суди! Привычка-то — вторая натура.

Этот случай, как говорится, из чужих уст. А вот свидетельствую сам. Прошлой осенью приехал я к старому знакомому, председателю колхоза Михаилу Ефимовичу Голубеву. Походили-поездили мы с ним по полям, а осень была худая, дождливая, уборка продвигалась плохо, и,

расстроенные собственным бессилием перед природой, отправились мы обедать. Только за стол сели, по ложке супу хлебнули, вдруг он ложку бросает, подходит к окну и говорит:

— Вот, полюбуйся. Ну что с ними делать? Ни стыда ни совести...

Из окна квартиры поле видать. На поле колхозники картошку с утра буртовали, обедать ушли, соломкой клубни на случай дождя прикрыли. Городские рабочие — они в поселке дома строят — это видели, взяли мешочки и к бурту потянулись. Глядим, два дюжих мужика этак по пудуку тащат, за ними две женщины с рюкзаками. Не таятся, нет, в полный рост по полю шествуют. Из любого окна видны. Тракторист на тракторе с тележкой наперерез едет, тоже несунов видит. Думаете, кто-нибудь вышел, кулаком погрозил: «Что же вы, мазурики, делаете!» Думаете, тракторист остановился, пристыдил? Дела никому нет. Несут — и пусть несут, не мое взяли.

— Не могу! — И без того взвинченный неудачами, председатель, злой как черт, пошел встречать несунов. Я тоже отложил ложку, отправился следом.

Мужики нырнули куда-то за угол, женщины, бросив в траву рюкзаки, с невинно-оскорбленными лицами пошли на нас в наступление. Да, представьте себе, они оскорбились. Ни больше ни меньше. Как это мы посмели заподозрить их в воровстве! И кто мы вообще такие, что пристаем к честным людям? Какие такие у нас права останавливать и придирааться? Признаюсь, оценил я от такого нахальства. Вот оно, оказывается, как: несун-то не робкого десятка, не вишится, схваченный за руку, он воинственно нахален. Может, потому люди и делают вид, что не замечают несуна? Кому хочется нарываться на оскорбления, а то и на угрозу? Мы с Голубевым, пока не назвали, такого наслушались — уши вяли. А как узнали, что перед ними сам председатель, дивно какими сиротинушками прикинулись: у них дома дети чуть ли не с голоду пухнут.

— Ах дети! — совсем разгневался председатель. — Вы смеете детьми прикрываться? Вы же души им калечите. Ну, привезете рюкзак картошки, что скажете дома? Заработали? Так ребенок знает, что на стройке кирпичи, а не картошка. Лгать начнете? С какими глазами мать будет лгать ребенку? Вы об этом хоть думаете?

Возвратившись домой, мы долго не могли успокоиться. Что за дикое явление это мелкое ханжничество!

— Теряться начинаю, — говорит Голубев. — Не знаешь, с какого конца к людям подойти. Но и закрывать глаза на это нельзя. Опасность мелкой растащилочки в том, что она делает характер, входит в привычку. Недавно один случай был — обнаружили во дворе колхозника молочные фляги, двадцать две штуки. Представляешь? Он лет десять возчиком молока работал и все десять лет, как мышь в нору, тащил к себе во двор по две-три фляги. Для фермы убыток невелик, спишут на износ, а ему, видишь ли... Да черт его знает, для чего они ему! Тащит, потому что не тащить уже не может. Ужасно все это душу разъедает...

Ну а что все-таки делать? Молчать, закрывать глаза, делать вид, что ничего опасного не происходит? Как же тогда помочь Светлане, которая хочет жить честно, но сама уже не в силах справиться с дурной привычкой?

Газета Светланино письмо не напечатала...

Публичное осуждение носителей вредных пережитков необходимо именно для тех, кто все видит, но молчит, для тех, кто из ложной скромности, робости или по другой причине не остановит любителя поживиться за общий счет. Публичность осуждения напечтает ему, что нельзя стоять в стороне и возмущаться втихомолку, а надо действовать. Вспомните названную в Светланином письме некую тетю Шуру, которая, «если и не дашь, все равно украдет или обманет». Это же олицетворение воинствующего нахальства. Ей надо противопоставить воинствующую честность. Наступающую. Непримируемую.

Так что я все-таки напечатал бы Светланино письмо. А рядом — другое, из далекого далека, письмо тридцатипятилетней давности, адресованное нам, ныне живущим.

Или я не прав? Переписываю строки письма с душевным трепетом, с острой болью в сердце. Мне кажется, я делаю что-то не то, приводя бессмертные слова здесь, в разговоре о человеческой мелочности. Впрочем, судите сами...

«Приближается черная, страшная минута. Все тело изувечено... Но умираю молча. Страшно умирать в 22 года. Как хотелось жить! Во имя жизни будущих

после нас людей, во имя тебя, Родина, уходим мы...
Расцветай, будь прекрасна, родимая, и прощай.

Твоя Паша».

«Во имя жизни будущих после нас людей...» Во имя тебя, Светлана, во имя детей твоих. Возьми лист бумаги, напиши крупно этот великий завет павших, повесь на видном месте в квартире. Он поможет тебе стать честным человеком, он не даст уснуть совести. В твоём сердце будет жить бессмертная Паша Савельева, девушка из деревеньки Зарубино под Ржевом, героиня Луцкого подполья, оставившая нам свое письмо на стене гестаповской тюрьмы.

Мало носить цветы к обелискам над братскими могилами, надо носить в сердце имена павших за наше счастье, надо сделать память о них своей совестью.

Письмо Паши Савельевой — это высочайшая мерка, которой надо мерить каждый прожитый день, это высший судия всей нашей жизни!

Вот почему я все-таки привожу его здесь. Без идеала жить нельзя!

6

...Пал Ваныч ростом — полмужика, а по силе — двоих пересилит: широк и кряжист. Голова лобастая, глаза маленькие, бледно-синие, как отцветшие васильки, голос тонкий и пронзительный. Он числился у нас в детдоме столяром, но, будучи мастером на все руки, делал все, в чем появлялась нужда: клал печи, рубил постройки, вязал рамы, чинил кровати... Всякое дело он исполнял умело и старательно. В силу своей всеумелости был он независим и прямолинеен, резал правду-матку в глаза. У деревенских правдолюбцев обычно повышенное самомнение, но, к чести Пал Ваныча сказать, он этим не страдал, неприятную правду он высказывал исключительно из уважения к делу. В его представлении любое дело, большое оно или маленькое, должно исполнять со всей добросовестностью. Его устами говорил Мастер.

Но люди, особенно молодые да начальствующие, в советах со стороны менее всего склонны слышать доброжелательность, во всем им чудится подвох или назидание.

По этой причине Пал Ваныч не уживался. Был он конюхом при больнице, сторожем сельмага, помощником пекаря, завхозом в школе — и отовсюду уходил по своей воле, все что-то ему не нравилось. Наконец пришел в детдом. Мы в ту пору строились, работы было много, в добром мастере нуждались. И он прижился у нас. Во мне тоже проснулся хозяин, все хотелось сделать для ребят получше, покрасивее, ну и выдумывал разные разности: то мастерскую из самана строить, то скверы разбивать, то яблоневый сад сажать, то кроликов разводить. А сноровки да опыта, признаться, маловато имел, чуть что — за советом к Пал Ванычу. Ему это нравилось, и он со всей серьезностью говорил:

— Ну-к что ж, давай обмозгуем.

Не любил человек давать скороспелых рекомендаций. Коль спросили у него, так со всех сторон решение взвесит, семь раз примерит, а тогда уж отрежет:

— Вот так советую, а там гляди сам.

Обычно «обмозговывал» он пространно, привлекая в качестве поучительных примеров разные случаи из собственной жизни. Иной раз случаи из «жития святого Павла», как в шутку говорили мужики, бывали и не к месту, но мораль неуместной никогда не была. Она звучала примерно так: из всякой передрыги сумей выйти человеком. За годы нашего знакомства в моей памяти осталось много историй, рассказанных Пал Ванычем, и, признаюсь, нередко вспоминал я их, когда самому приходилось решать, как поступить.

Вот некоторые из его историй.

— Расскажу, как я корову покупал. Вернулся с войны домой, а дома нет. Женка хвора, в чужой землянке ютится. Ребятёшек двое. Хозяйство — ни в рот положить, ни на плечи надеть. Обзаводись, солдат, сызнова. Старые мозоли не сошли, новые набивай.

Ну, горевать некогда, надо жить. Выпросил в селе баню, бревнушек кое-каких из лесу патаскал, стены подлатал, крышу навел, дым в трубу пустил — живите, ребятёшки. Не каплет, не дует — чего там, хоромина добрая. Огород, хоть и поздновато, посадили — в зиму с картохой будем. Коровенку бы огадать — совсем хорошо. Денёжонок малость принес, сколько там солдату выдали, еще, думаю, подработаю, а тогда уж и сенца наконшу, до осени далеко. Таковую вот думу держу в голове, но тут, брат, лихая

беда свалилась, лишнее не придумаешь — умерла женка. Схватила за сердце, охнула — и... До сего дня слезы в сердце закидают, как вспомню. Солдатские деньжонки на похороны ушли, отодвинулось от ребятышек молоко. На войне не поседел, а тут в одну ночь голову выбелило. Пошел с поклоном к старухе соседке, упросил малых доглядеть, а сам мешок со инструментом за плечи — и в заработки. Не знаю, спал ли я сколько, кажется, что и не спал, днем и ночью не разгибался, горе и зло на судьбину в работе топил. Заказов много, только успевай, все обстраиваются, все жить хотят. По нынешним временам озолотился бы, денег полный карман, а цены им никакой, на корову чуть ли не год вкалывал.

В одной деревне телушку огуленную наглядел, сторговался, ну, думаю, слава те господи, к концу дело. Да недаром говорят: одна беда не ходит, всегда с победками. Бац реформа! Деньги на руках, получи, Пал Ваньч, рупь за десятку. Сунулся в лавку — закупить хоть чего-нибудь — голые полки кругом. Мать честная! Бегом к братухе родному, он у меня в ту пору сельмагом заведовал: «Присоветуй, чего делать?» Братуха говорит: «Ладно, горемыка, выручу. Приходи ночью к магазину, на всю сумму водки наберешь. Водка в цене остается». Пришел домой, сижу, думаю. Вот-вот темнеть начнет, надо собираться. А сам от табуретки оторваться не могу. Жжет, понимаешь, в грудях, как будто угольев за рубаху насыпали. И руки дрожат. Истинный бог, все равно как на воровство собираюсь. Я в жизни палки чужой не взял, не могу подняться, хоть ты бей меня. Так всю ночь и просидел. Наутро братуха спрашивает, чего, мол, не пришел. «Кабы днем», — говорю. А он: «Дурак дураком, и уши холодные». Плакала моя телушка. Еще год хребтину гнул, новые деньги зарабатывал, на новые и купил...

А теперь вторую историю расскажу. Тоже с коровой связано, только это уж много позже было. Называется, как я сено на болоте косил. Я хоть и сельский житель, а в колхозе не состою, рабочим числюсь. Стали нас одно время прижимать, чтобы, значит, в колхоз шли, свои-то у них поразбежались. Оно, видишь, как было: я, к примеру, не пашу, не сею, а хлеб имею, а ты, скажем, в колхозе состоишь — тебе его в лавке не продадут. От этого вот и бежали. А как нас прижмешь? Мы ж не подчиненные! Был у нас председателем Швобс. Прошедший, зараза:

нашел, чем нашего брата прижать — сеном. Запретил для своих коров сено косить. Куда денешься? Все село коров пораспродало. Мне бы тоже следовало, потому что нужды в молоке особой не было. Ребята выросли, я до него не большой охотник, к чему держать-то? Но у меня, понимаешь, характер такой: не люблю, когда меня через колено гнут, не сгибаюсь я, встает что-то во мне на дыбки. «Нет, — думаю, — товарищ Швебс, на испуг меня не возьмешь, пужаный я. Законы не хуже твоего знаю». Пошел в лес, наглядел болотину, вечеринками-утринками выкосил. Поклад стожок на самой зыби, чтобы ходу не было. Народ у нас ведь какой: сам спужался — и ты с ним пужайся. Прознали про мой стожок, Швебсу шеннули, тот приказывает: «Изъять!» Сунулись — куда там! Не то что с конем — пешему не пройти. Я-то на хребтине таскал, а им на кой ляд горбиться. Докладывают: так, мол, и так, не достать сено. «Никуда не денется, — говорит Швебс, — по морозу достанем». А я себе: «Ну-ну, дожидайтесь морозов». Выпросил у пекаря коня, в ночь — на болото. Самую зыбь хворостом загатил, воз навил да кружной дорогой и привез. Долго ли, скоро ли, а дознались про это, в суд на меня подали. Присылают повестку, собираюсь. Ну, правду тебе сказать, для виду хорохорюсь, а в поджилках дрожь чувствую. Закон законом, а там кто их знает. Швебс не сам по себе смел — за спиной поддержка есть. Ну, судья, надо сказать, не робким оказался, раскумекал, что сено на лесфондовской земле накошено. «Чего ж вы, товарищ Швебс, не свое ищите? — спрашивает. — Иди, Пал Ваныч, домой». Вот спасибо! Добрый человек — умно рассудил. Я не ради коровы, ради справедливости. Должен кто-нибудь и за справедливость постоять. Ежели все сгибаться начнем, тогда кто хошь верхом садись и погоняй. Вот такая, значит, история с сеном вышла.

А хочешь, расскажу, как у воинского начальника печи клал? Напаялся я к военным. Сначала дома собирал щитовые, потом печи класть пришло время. Инженер дознался, что я печник, зовет в кабинет и подает мне чертеж. «Тут тебе не деревня, — говорит, — на глазок не выйдет. Чтоб тютелька в тютельку, иначе уволю». Взял я бумагу, разглядываю. Чего там, обыкновенная пятиоборотка. «Ладно, говорю, покласть я тебе покладу, как нарисовано, но только учти, дым в трубу не пойдет». — «Куда же он пойдет?» — «А куда ему больше идти? Либо

в дверь, либо в окно. Если хощь, чтобы в трубу шел, то должен я по-своему класть». Инженер меня на смех: «Институт проектировал, видишь, сколько подписей и печатей, а ты «не пойдет»! Куда прикажут, туда и пойдет». — «Ну, тогда, говорю, увольный, класть по рисованному не согласный». Спорили-спорили, раззадорил я его, амбиция в нем выиграла: как, мол, так! Ученые рисовали, а мужик бракует! До того доспорили, что об заклад побились: будет по-своному — я расчет беру, выйдет по-моему — он в отставку подаст. Вокруг нас народ, всем любопытно. Поставил он нас двоих, одному велит по чертежу класть, а мне — как хочу. Кладем. В азарт вошли. Инженер наблюдает. К вечеру трубы вывели, команда: «Затопляй!» Моя как миленькая затрещала, загудела, дым винтом — любо-дорого. Инженерова чадит, как баня черная. «Ну, — говорю инженеру, — пиши рапорт и отправляйся телят пасти». За такую дерзость мне по шанке дали — уволили. Мне что! Мешок за плечи — и домой, картошку в огороде копать. Прибрался я по дому, вдруг под вечер «газик» у ворот останавливается. Инженер вылезает и с извинениями ко мне: «Будь такой добрый, объясни, в чем причина? Ни одна печь не тошится, только твоя тошится». Не стал я зловредничать, чего там, дело общее, а с инженера и того хватит, что с поклоном приехал. Взял я на придворке четыре кирпичины, выложил квадрат. «Вот, говорю, так на чертеже нарисовано — дымоход вилокирнича. А теперь гляди сюда». Беру пятую и выкладываю квадрат из пяти кирпичей — дымоход вдвое шире. «Ваша труба, говорю, для открытой местности предназначена, а вы в лесу строите, тяга другая». Звал он меня опять к себе. Не поехал. Говорю: «Дело я тебе объяснил, а работать у тебя не стану, не уважаю».

Одно свойство историй из «жития святого Павла» отметил я с годами: звучали они всегда свежо. Время в них словно бы не замечалось. Они как сказки: когда сложены, кем сложены, не спрашиваешь, а слушаешь да на ус мотаешь. Сколько лет уж прошло, а встретимся, начнем о чем-нибудь сегодняшнем рассуждать, Пал Ваньч давнюю историю припомнит и, как говорится, без примерочки, в самый раз. Это, по-моему, и есть поучительность жизни.

Сколько на российских просторах раскидано больших и малых селений, и у каждого — при общей судьбе — свое лицо, своя история. Редко найдешь в печатных источниках или в памяти народной год рождения той или иной деревеньки: корни их уходят во времена незапамятные. Иногда лишь летописная строка или старинная книжка донесет до нас из глубины веков малую малость — имя основателя или событие, давно произошедшее в каком-нибудь селе, и, удивленные, мы часами способны размышлять, пытаясь проникнуть в исчезнувшую жизнь и извлечь из нее что-то очень нужное нам сегодня. Что мы там ищем? Свою родословную? Истоки народного характера? Что бы ни искали, ясно одно: без памяти не прожить.

В детстве меня поразили строки старой книжки о том, что «недавний лицеист Пушкин вместе с родителями летом 1817, а затем 1819 года проезжал из Петербурга в сельцо Михайловское через Гатчину, Порхов, Ашево, Бежаницы, Новоржев — кратчайшим и наиболее удобным путем, которым неоднократно пользовался и впоследствии». Это было открытие! Пушкин ехал через мою деревню Верховинино, мимо имения барыни Елагиной Успенье, в которое мы бегаем теперь в школу, через село Ашево, куда по воскресеньям ездим мы с отцом на ярмарку. Целыми днями просиживал я на пыльном откосе и, подстегивая воображение, силился представить карету, запряженную тройкой, а в окне кареты курчавую голову поэта, глядевшего на мальчишку-поднаска, который, возможно, сидел на том же месте, где сижу я, и который — все может быть! — был моим дедом.

Интерес к прошлому русских городов и сел с годами все нарастал и нарастал во мне. «Казачи себежские и опочецкие разные люди взяли город Заволочье у Олисовского и много сукоп и город сожгли...» — повествовала летопись 1613 года, и я отправлялся к истокам реки Великой искать бывший город, а теперь село Заволочье. «Академик В. А. Обручев, автор «Земли Санникова», родился в 1863 году в селе Клеинино...» — рассказывала краеведческая книжка, и я ехал на Верхнюю Волгу, бродил заросшим пустырем, на котором некогда стояло село, подчистую сметенное войной. «Лета 1763, егда приде в село Мологино некий учитель Алексей Раменский, нареченный

из Москвы-града, да и помнят, начал он творити дела и школу для народа создаша и жизни своей пятидесяти лет сему делу положивши...» — повествует хроника учительского рода Раменских, коему уже более двухсот лет.

В селе Волок на реке Серезе родилась и выросла Елизавета Дмитриева-Томановская, которую Маркс послал на баррикады Парижа представителем I Интернационала... Село Полибино — родина сестер Корвин-Круковских: ученой Софьи Ковалевской и революционерки Анны Жаклар... В селе Тележники под Себежем находилось имение Фонвизина, куда приезжал он в 1792 году, желая поправить бедственное положение крепостных крестьян... Имена вызывали жгучий интерес и благоговение. Я подолгу разглядывал аллеи старых парков, полуразвалившиеся флигельки и каретники, дороги, обсаженные березами, заглушенные пруды как немых свидетелей минувшего, сожалел, что не могу выпытать у них того, что не вошло в книги и летописи, что было доверено только им.

Потом и сам, собирая рассказы очевидцев и участников событий последнего полувека, в меру сил писал историю русской деревни. Удивительно богатые чувствами и душевной красотой люди встречались мне.

Течет по Валдаю речка Полометь. Начинает она свой путь в центре Валдайской возвышенности из лесного озера и, огибая холмы и взгорья, бежит на север, а в Рахинских болотах, описав широкую дугу, поворачивает на юг и вливает свои воды в Полу, а та уж несет их в Ильмень-озеро.

В грибную пору, когда на прибрежных кручах лимонно-оранжевым огнем возмущаются березы и рябины, а в борах высыплет рубиновая брусника и тонкая паутина серебряной пряжей заткнет орешник, — в такую пору кажется, что течет река сквозь яркое полмя.

Вода в Поломети редкой чистоты. На перекатах каждый камешек виден, столетние сосны прямо с обрывов пьют корнями хрустальную воду. А на дугах ивы и ольхи так низко склонились к реке, что совсем спрятали ее от глаз человека, — тут самые соловьиные места.

На одном из таких мест, в самом истоке реки, стоит небольшая деревенька Крестовая. Довелось мне там бывать.

В ту пору в Валдае секретарем райкома партии работал Яков Федотович Павлов, известный всей стране сержант Павлов, герой Сталинградской битвы. В беседе я спросил у него:

— Где ваша родина, Яков Федотович?

— Здесь, на Валдае. В Крестовой родился.

— Часто там бываете?

— Не очень. Все как-то не случается. А надо бы...

Тогда мы и собрались. Было это поздним августом под воскресенье. Юрка, девятилетний сын Якова Федотовича, с нами увязался.

А надо сказать, лето в тот год выдалось дождливое. Выправлялись — на небо поглядывали: низкое, глухое, но вроде бы не грозило скоро пролиться. Однако ошиблись, сразу за городом редкие капли застучали по брезентовому тенту машины.

— Ну вот, — вздохнул шофер, — давно его не было. Как бы не застрять...

А дороги на Валдае и без того каверзные. Едешь, едешь — ровно, гладко, хоть песни пой, и вдруг — бух в пучину по самые ступицы! Приглядишься — ключ из-под сонки бьет, а подпочвенный слой — глина, вот и вязель, да такая, что не вдруг и объедешь.

В одном месте, где крутая сопка прижала дорогу к самой Поломети, мы застряли. Подергался, подергался наш «газик» и стал. Вылезли мы с Яковым Федотовичем и давай толкать. Воды за голенища набрали, в грязи перемазались, но все-таки вытолкали. Сели в машину, отдышаться не можем, а Юрка посмеивается:

— Кажется, вы покупались маленько?

Хитрец! Мы в грязи тужились — он молчком сидел. Съехидничал, когда выбрались, видит, теперь мы добрые.

Скоро в сосновый бор въехали. Стемнело. Шофер фары включил. Широкий белый луч лег на желтые сосны, на яркую бруснику у самой дороги. Яков Федотович попросил остановиться.

Вылезли из машины, за брусничкой нагнулись, кинули в рот по горсти холодных кисло-сладких ягод. Пахло лесной прелью и грибами. Невдалеке на перекате Полометь позванивала. Дождь утих, только капли с деревьев падали, и шел от них по лесу таинственный шорох.

— Памятное место, — проговорил Яков Федотович. — Сюда мы перед призывом в армию приходили. Есть мест-

ный обычай: парни, уходя на службу, завязывают узлом ветки молодых березок. Ты службу несешь, а дома мать или невеста на твое деревцо посматривают: цел узел — значит, жив-здоров солдат. Наверно, с далекой рекрутчины так повелось, когда писем не умели писать.

— Чудной ты, папка, — засмеялся Юрка. — Взрослый, а в сказки веришь.

— Сказка сказке рознь, — ответил отец. — За такую сказку, сынок, умирали...

Яков Федотович погрустнел. Юрка сунил белесые бровки, сиделся понять отцовы слова. Я знал, отчего грустнеют солдаты, и молчал...

Крестовая встретила нас редкими огнями. Машина остановилась у тесового, почерневшего от дождя дома. На шум мотора кто-то вышел на крыльцо.

— Яша, никак, ты? Как сердце чуяло, спать не ложились.

Это Василий, брат Якова Федотовича.

— Здравствуй, братенек. Поздние гости — лишние хлопоты.

— Ну полно, какие там хлопоты! Да вы же мокрые! Скорее идите в избу. Юрок, ты замерз, поди.

— Не, дядя Вася, не замерз. За шиворот маленько накапало.

В избе с нас сняли мокрые сапоги, дали сухие валенки с печки. Самовар загудел. Мы городские гостицы выложили. Сидим, разговор неснешный ведем: торопиться некуда, впереди ночь, успеем и услышать новости и свои выложить. На стене ходики постукивают. Кот трется о ноги, к одному подойдет, помурлычит, к другому — выгнет спину, хвост свечкой поставит, видно, рад гостям.

Нанились чаю, сели к окну покурить. Раму распахнули. Ночь теплая. С садов тянет яблоками, укропом, мокрой крапивой. У кого-то на краю деревни желтым пятном светится окно. В темноте огонь кажется далеким и таинственным.

Я пробую сориентироваться и представляю, что окно, у которого мы сидим, выходит на дорогу к Моисеевичам. Там центр колхоза, оттуда тянут в Крестовую электролинию. Говорю об этом Якову Федотовичу.

— Да, — подтверждает он, — этой дорогой в школу в Моисеевичи ходил. Возвращаюсь, бывало, домой, только из лесу выйду, Петька меня уже видит. Петька — это

брат старший. Болел он. Все на кровати лежал, вот тут, у окна. Вместе со мной школьный курс проходил. Только я в избу — раздеться не даст, кричит: «Какие сегодня задачки задали?» Фантазер был. Уроки сделаем, он мне рассказывает, что за день выдумал. То у него красная конница на лугу сражалась, то разбойники в лесу злого барина поймали — все в таком роде...

Василий собирается спать: завтра ему рано на ферму. Юрка тоже начал клевать носом. Яков Федотович затворил окно, сказал, что и нам пора отдыхать.

Спать пошли на сеновал. Летом нет лучшего почлега, чем на сеновале. Едва смежишь веки, как перед глазами закачается некошеный луг, запахнет смолянкой и диким клевером. Шум дождя по крыше напомнит шорох травы под косой, и кажется, не сухая метелка щекочет ногу, а идешь ты по широкому колкому прокоосу, со всего плеча пускаешь в траву отточенную сталь, и поет она по росе свою песню — жвик... жвик...

Юрка ворочается на непривычной постели, бубнит недовольно:

— Дядя Вася подушки не дал...

— На сеновале на подушке только барчуки спят, — говорит Яков Федотович.

Юрка не хочет быть барчуком, уткнул голову отцу под мышку, обнял за шею и заснул. Яков Федотович натянул ему на плечи одеяло, усмехнулся ласково:

— Герой — карман с дырой...

Сеновал был полон шорохов. Крапал по крыше дождь, что-то грызла в углу мышь, в хлеву вздыхала корова. Мы лежали молча, слушали шорохи и думали о своем. Яков Федотович вдруг сказал:

— Письмо вчера получил. Гляжу на подпись — и глазам не верю: Хаит! Был у меня в отделении Идель Хаит. В Сталинграде погиб. Сын его пишет, Яков. В армии служит. Просит об отце рассказать. Вот как время идет! Дети солдат стали солдатами... А он совсем не помнит отца. Не пришлось спать вот так, с отцом на сеновале...

Я читал почту Якова Федотовича. Много ему писем приходило. От детей, от солдат, от солдатских вдов. Помню, Алеша Фатеев из Ростова докладывал: «Дяди Павлов, теперь я поправился и по утрам занимаюсь зарядкой и обливаюсь холодной водой...» А солдат Михаил Кудрин с Дальнего Востока писал о том, что скоро демобилизуется

и собирается ехать домой, в Ровно, на велосипеде. Просил доброго напутствия и обещал: «А письмо Ваше я сохраню на всю жизнь и буду детям показывать».

Опять молчим. Не спится. Приходят мысли о детях, вспоминается свое детство. Воспоминания растревожили душу, из забытого далека пришла песня:

Богатством своим ты меня не держи,
Все роскоши эти и неги
Я б отдал за крик перепелки во ржи,
За скрип повгородской телеги...

Разбудил нас петух. Белый, с большим малиновым гребнем, он прямо с насеста горланит на нас.

— О, чтоб тебя! — ругает петуха Василий и прогоняет на улицу. Он набирает охапку дров, говорит нам: — Спите, рано еще. А дождь перестал. Разыгрывается денек...

Мы спускаемся с сеновала, выходим на улицу. От восхищения я чуть не вскрикиваю. Какая неоглядная даль! Далеко-далеко, до самого горизонта, катятся зеленые волны леса. Над лесными распадками, над лугом, по которому струится Полометь, стелется густой туман. Сдается, что насли ночью ребята коней и забыли потушить костры. Солнце уже взошло, но прячется за последней тучей на горизонте. Едва в туче обозначится прогал, спон света падает на землю, и краски позднего лета вспыхивают ярко.

— Земля-родина, — тихо произносит Яков Федотович. — Вот от чего щемит сердце...

Я вижу в его глазах тихое восхищение. Думаю: «Что стало бы с человеком, утрать он чувство родной земли? Все большое и светлое, что дано нам в ощущениях, идет отсюда, от этого пятачка земли, который исходил ты босыми ногами, на котором плакал и смеялся, учился понимать добро и зло и по дороге которого ушел в большой мир.

Святое чувство Родины!»

Умывались мы у колодца. Набухший от дождей деревянный ворот поворачивался с трудом, цепь долго разматывалась — колодец был глубокий. Яков Федотович разделся до пояса и велел лить из ведра. Подбежал Юрка, поставил свою худенькую незагорелую спину. Я окатил их студеной водой. Потом они стояли рядом, отец и сын, и, побрякивая, растирались мохнатыми полотенцами.

После чая ходили в лес, набрали по корзинке боровиков, а затем отправились на Полометь удить рыбу. К реке вела старая военная дорога с бревенчатым настилом. На ней росла трава, уже много лет росла, и, каждую осень засыхая на корню, образовала толстую дернину. Дорога опускалась в землю. Пройдет десяток лет, последние бревна затянет дерном, перержавеют проволочные жгуты, и не всякий догадается, что эта дорога вела на передний край обороны. Когда Яков Федотович сражался на Волге, фронт стоял и на Поломети. В окрестных лесах еще видны окопы, блиндажи, ржавеет на трухлявых кольях колючая проволока.

Древние летописи говорят, что недалеко отсюда, от места, названного летописцем «Игначе крест», татаро-монгольская конница поворотила вспять: люди русские преградили ей путь на Новгород. Через семьсот лет здесь были остановлены и разгромлены фашисты.

Мы миновали старое, заброшенное гумно, в щелях которого посвистывал ветер и шевелил черные, неизвестно с каких времен оставшиеся клочки пакли. Яков Федотович сказал:

— Когда-то здесь лен мяли. На деревянных мялках. Наше — ребячье — дело было коней подгонять. Сидишь на вальцах и гоняешь коней по кругу. Как на карусели. Выйдешь на улицу — перед глазами все плывет.

Яков Федотович знает всю крестьянскую работу. И хлеб сеял, и траву косил, и лен трепал. Ничто из рук не выпадет: ни плуг, ни коса. Потому и бережен он к земле, уважает всякий труд, учит тому же людей.

Небо с полудня затянуло мягким теплым пологом, начал накрапывать редкий мелкий дождь. Река от него стала рябой. Тут, в истоке, она совсем маленькая и тихая, дремлет в густой, уже порыжевшей осоке. В омутах под ивами живут темные большеголовые окуни. Мы вытащили с десяток рыбин и наладились варить уху.

Сырые дрова горели лениво, дым тянуло понизу, он путался в рыжей осоке, стлался над рекой и тек вместе с водой к лесу. Мы сидели с наветренной стороны, глядели, как томится уха в котелке, и перебирали в памяти далекие годы.

Много тогда рассказал мне Яков Федотович о своем детстве. Оно было похоже на детство сотен и тысяч сельских мальчишек, родившихся в год революции. Трудн-

лись с отцами на ниве, учились в школе. Когда организовались колхозы, они уже подросли, пошли в трактористы, в счетоводы, бригадирами — стали брать на свои плечи общественное хозяйство. Потом война взвалила на них судьбу страны. Своими жизнями отстояли они Родину. Теперь их имена высечены на каменных монументах у колхозных клубов: «Здесь родились и выросли, отсюда ушли на войну и пали смертью героев...» — и дальше в несколько столбцов имена, имена...

Струилась тихая Полометь, шуршала осока, пахло ухой и близкой осенью. Я думал о том, что, пока живут люди, ничто не будет забыто: ни эта речка, ни детство, ни войны. В памяти — наша сила.

8

На речке Явони нет ни паромов, ни лодок, да и мост только один — в Демянске. И тот действует главным образом на время половодья, когда маленькая Явонь гнет к земле прибрежные ивы, льдинами выдирает кусты. В половодье речка свирепая, летом же смирно дремлет в осоках и луговых травах. В омуточках мальчишки пескарей ловят, на плесах по колено забредают коровы.

У заезжих Явонь не вызывает восторга: даже выкупаться негде. Коренные демянцы относятся к речке уважительно, она служит им добросовестно: и огороды поливает, и стада на пастбищах поит, и в деревенские бани завидной мягкости воду подает.

Прошлое у Явони большое. Целые века служила она нашим предкам — новгородцам — как торговая дорога. Исток Явони лежит в нескольких километрах от Селигера. Если преодолеть их волоком, то плыви хоть в Каспий, хоть в Балтику: из Селигера по Селижаровке в Волгу, а на запад — через Полу, Ильмень, Волхов — в Ладугу. Древние новгородцы так и ходили на своих лодьях.

На волоке встречались караваны. Из Владимира и Суздаля везли хлеб, навстречу, из Новгорода, — продукты охоты и бортничества. Есть на Явони, у деревни Пески, любопытная гора — место былых торжищ. Мой интерес к ней привлек Никандр Павлович Баронов.

— Приходилось ли вам слышать легенду о Княжьей горе? — спросил он.

— Нет.

— Обратите внимание на форму: совершенно правильная усеченная пирамида. А кругом ровные, как стол, луга. Трудно поверить, что такое могла сотворить природа. И придумали люди легенду. Говорится она так: «Жил на Явони старый князь с молодой княгиней. Влюбилась княгиня в красавца ключника. Долго ли, скоро ли — дошла молва до князя. Повелел он срубить ключнику голову, а бело тело его кинуть зверью. Узнала о том княгиня, пала на колени, стала просить предать тело земле. Смиловатился князь, разрешил, но при условии, что княгиня своими руками не более как за одну ночь насыплет на могиле гору. Солнце село, вышла княгиня в поле, стала носить землю. Ночь ли длилась так долго, любовь ли придала княгине необыкновенную силу, а только к утру увидели люди на чистом лугу высокую гору...» С тех пор и зовется она Княжьей. Задал я однажды своим ученикам задачу: высчитать объем горы. Оказалось, одной человеческой жизни не хватит, чтобы насыпать столько земли.

— Зря разрушили легенду. Красивая.

Никандр Павлович засмеялся, покачал головой. Он невысок и, как все сельские старики, худощав. Глаза живые, зоркие. На жесты скуп, в движениях медлителен, да и на слово не особенно охоч, разве что под настроение разговорится. Он учитель-пенсионер. Живет в небольшом домике с садом в Песках. При доме огород, соток пятнадцать, как и положено сельскому учителю. Но огород не обычный, не такой, как у всех: картошка и всякие овощи. Это — сказка. Чудесная, поразительная сказка, чем-то похожая на красивую легенду о Княжьей горе. Поверите ли, если скажу, что гектар ячменя может уродить 1500 пудов зерна? Нет? Я тоже не верил, пока сам не увидел.

Но прежде чем открыть калитку в огород-сказку, расскажу один древний случай. Двести лет назад, в августе 1772 года, в Санкт-Петербурге, в Императорском саду, в присутствии знатных особ садовник Андрей Эклебен сеял рожь. Были выбраны три совершенно одинаковых поля, каждое в восемнадцать квадратных сажен. Почва самая обыкновенная, без навоза, рожь весьма посредственная. Два поля засеивал мужик-работник «по здешнему способу» — по тринадцати полным чашкам на каждое.

Третье поле теми же семенами запечатывал сам Эклебен, однако употребил он семян не более получашки, то есть одну двадцать шестую долю того, что высеял мужик. «При сем, — говорится в старинном описании, — особливо примечания достойно было, что он совсем не боронил, но сеял обеими руками и, идучи, посеянные семена также обеими ногами зарывал в землю». Смысл этого опыта раскроет нам сообщение, напечатанное восемью годами раньше, 7 ноября 1764 года, в «Санкт-Петербургских ведомостях»: «В здешнем Императорском саду, что у Летнего дворца, старший садовник Эклебен прошлого года сеял на небольших полосках пшеницу и рожь на пробу искусства своего в размножении разного сева. Сие так ему удалось, что почти всякое зерно многочисленными колосами, наподобие кустов проросло. В одном из оных содержалось 43 колоса спелых да 5 недошлых, из коих в одном начтено 81 зерно, а всех в целом кусте из единого посеянного зерна вышло 2375 зерен...»

Сообщение, под которым стояла подпись «М. В. Ломоносов», кончалось словами: «Сей первый опыт доказывает, что и в наших северных краях натура в рассуждении хлеба плодovitее быть может старательным искусством».

Но Эклебену поверили немногие. Большинство считало опыт явным обманом. Чтобы убедить сомневающихся в «истинной причине такого чрезвычайного плодородия», и был произведен посев на контрольных делянках с представлением караула. Позже Эклебен демонстрировал куст ржи из 376 колосьев, в каждом из которых насчитывалось от сорока до ста зерен...

Ничего этого не знал Никандр Павлович, когда весенним утром 1947 года вышел в огород прополоть грядку. Присел, стал вырывать сорняки и заметил ячменный стебелек. «Зачем его вырывать, — подумал, — пускай растет». Но, разрыхляя землю, присыпал нечаянно росток землей. Через несколько дней опять пришел к той грядке и подивился: вместо одного ростка — тридцать два! Снова присыпал — растение еще больше раскустилось. Осенью от одного зерна выросло сто два колоса.

Никандр Павлович встает с крыльца, на котором мы беседовали, и ведет меня в огород. Сразу от калитки открывается широкий вид на луговую пойму Явони с Княжьей горой. Но это я замечаю лишь первым взгля-

дом, потом меня завораживает огород — изумительное колосистое поле. Рожь, пшеница, ячмень, овес, бобы, гречиха — все буйное, в добрый человеческий рост. А главное, все растет кустами. Прямо лес какой-то. Не утерпел, опустился на колени, стал считать стебли. В одном кусту ржи насчитал пятьдесят два стебля, в другом — восемьдесят. Рожь уже отцвела, зерно наливалось. Колосья крупные, длинные, тяжелые.

Никандр Павлович понимает мое нетерпение, ждет, пока схлынет восторг и я «приду в норму». Тогда он, старый учитель-математик, цифрами начинает разрушать сказку.

— Общепринято высевать на гектар сто восемьдесят килограммов ржи. Сорок зерен — это один грамм. Следовательно, высеваем семь миллионов двести тысяч зерен. А собираем сколько? В лучшем случае десять — двенадцать центнеров. Начнем считать: один колос весит не более полграмма, значит, на гектаре выросло два миллиона или чуть побольше колосьев. Куда же подевались остальные пять миллионов? Они погибли.

— Отчего?

Никандр Павлович поглядел на луг.

— Видите, стадо пасется? Коровы весь день на ногах. Ищут, где корм получше. Растение, в отличие от животного, не может сходить «пообедать» на другое поле. Оно растет там, где посеял его человек. И как посеял. В нашем примере посеял очень густо, на одно зерно пришлось не более пятнадцати квадратных сантиметров пашни. Как видите, «жилплощадь» мизерная. Тимирязев говорил, что «коренной задачей научного земледелия является изучение требований растений». Вот и спросим у ржи, какая «жилплощадь» ей необходима. Иначе сказать, каково должно быть оптимальное почвенно-воздушное пространство для одного растения? Я стал искать ответ.

Опыт Никандра Павловича заключался в следующем: нарезал деланки — полоски в метр шириной, в десять метров длиной, делил их на десять клеток — по квадратному метру каждая. В первой клетке сеял одно зерно, во второй — четыре, в третьей — девять и далее: 16, 25, 36, 49, 64, 81, 100. Всходы дважды окучивал, вызывая кущение. Рожь неизменно давала высокий урожай в четвертой клетке, пшеница и ячмень — в четвертой и пятой, овес — в пятой и шестой, просо — в третьей. Лучшее всего расте-

ние развивалось на площади 400 — 450 квадратных сантиметров.

Профессор В. Ридигер так отозвался об опытах учителя: «Никандр Павлович Баронов многократными опытами доказал, что при рассчитанно-редком посеве даже на подзолистой повгородской земле можно получать урожаи ржи, пшеницы, ячменя по 200 — 240 и больше центнеров с гектара. Да, трудно поверить, что простой учитель без специального образования опередил достижения агрономической науки и сумел получить баснословный урожай».

Долго ходил я по огороду-сказке, смотрел, считал, и мне, как и профессору Ридигеру, верилось с трудом. Это ведь всегда так: при встрече с необыкновенным мы даже собственным глазам верим неохотно, все ищем, нет ли какого подвоха. Но, познакомившись с почтой Никандра Павловича, я узнал, что на свете не один он такой чародей. Письмо с Украины от старого конармейца Поединка: «Я увлек вашим примером многих колхозников и школьников. На пришкольных участках и на огородах получили в пересчете на гектар урожаи по 150 — 250 центнеров». Учитель Науменко из Казахстана сообщает о своем успехе — собрал 300 центнеров. Пишут опытники, школьники, агрономы. Проблемой «хлебного куста» занялись и научно-исследовательские институты. Никандра Павловича пригласили на ученый совет в Министерство сельского хозяйства.

...День клонился к вечеру. От Княжьей горы протянулась через луг длинная тень. В полях за Явонью били черепела. Мы сидели на садовой скамейке и мечтали о том времени, когда на широких полях будут зреть сказочные урожаи. Я сказал учителю:

— Вы говорили мне про Княжью гору. Что-то от древней легенды я нахожу в вас.

Он вопросительно приподнял бровь.

— Ну как же! Любовь и труд, если верить легенде, создали удивительную гору. А ваш огород — разве без любви и труда выросло бы это чудо?

— Ах, вот вы о чем! Да, конечно, без этого человек — пустоцвет, жизнь прожил, а плодов не дал...

Спустились на землю сумерки. На лугу лег туман. Невидимо и беззвучно текла в тумане маленькая Явонь — древняя дорога наших предков.

В квадрате между городами Торжок, Осташков, Ржев, Старица лежат старинные села и деревни, вошедшие в историю отечественной культуры. В Бернове, Малинниках, Мологине не один раз гостил у своих друзей Пушкин; в Прямухине, в имении Бакушиных, бывали Белинский, Тургенев; в Кувшинове — Горький; в Шевелино, к крестьянину Василию Сютаеву, специально приезжал Лев Толстой; в Велеможье стояла редакция газеты Калининского фронта, в которой работали многие видные советские писатели.

Округа имеет свой колорит, отличный от других мест Верхневолжья. Островерхние еловые урочища, облачная пелена неба, посеревшие от дождей драночные крыши деревень, подзолистые нивы создают серо-голубой фон, с непривычки кажущийся чуть-чуть мрачноватым, осенним, особенно в морозящий дождь или в ранний утренний час, до восхода солнца. Но в ясный день сильнее проступает голубизна, и тогда всхолмленные дали становятся легкими и прозрачными, видно далеко окрест и ты начинаешь постигать неповторимую красоту этого уголка Предвалдая.

Я ехал в Баранью Гору к художнику Ивану Михайловичу Митрофанову. Дорог тут, если не считать асфальтированной магистрали на Селигер, можно сказать, что и нет. Проселки, наезженные когда-то телегами, разбиты до непроходимости, а старинные почтовые тракты, хотя и подновляются понемногу, не выдерживают тяжелых машин, расползаются и садятся. На бывшем тракте, на взгорье, и стоит небольшая деревня Баранья Гора. Я отсчитал, как мне велели, четвертую крышу с краю. Большой дом смотрел на улицу четырьмя высокими окнами. Он был срублен из толстых еловых кряжей, и, как видно, очень давно.

Навстречу вышел хозяин, невысокий, худощавый, очень подвижный старик. Он был в синем рабочем халате, от которого исходил сложный запах мастерской: грунта, красок, холста. Если бы я не знал, что Ивану Михайловичу шел последний год седьмого десятка, сказал бы, что человек только-только вышел на пенсию.

Вечер у нас был, как говорят, насыщенный. Иван Михайлович великолепный рассказчик, память у него светлая. Он говорил о своем учителе художнике Юоне, о встречах с Николаем Рерихом, читал воспоминания, которые он

на склоне лет решил записать, декламировал былины и предания.

Утром пошли на Тавруев курган. Дул свежий ветер, гнал облака, и солнце выглядывало редко, но, когда выглядывало, небывалой голубизной светились позабудки. Иван Михайлович обратил мое внимание на брошенную кирпичную постройку за околицей. «Молокозавод был. Колокольную стасовского храма разобрали, завод сложили, теперь брошен». Над всхолмленной с темными еловыми урочищами окрестностью взлетает с холма ввысь и как бы парит в воздухе видимое верст за тридцать с любой стороны пятикупольное чудо — творение зодчего Василия Стасова. Изуродованное и все равно величественное. Блестали же талантами предки!

...И собрана нечистый множества вой,
И бысть сеча зла, яка ж не была на Руси,
У Осуги реце, Чисте Камне и Бранье Горе.
И Русь погнаша по них секуще,
И бежа нечистый, Браньей Горе оставиша кости своя,
И исходяше от них смрад зол...

— Что это? — с удивлением спрашиваю у Ивана Михайловича. — Откуда?

— Пришлось мне в свое время, — объясняет он, — быть в комиссии по инвентаризации церковных книг. Попалась летопись. Где она теперь, не могу знать, но строчки из нее запомнил. Описана, как вы поняли, битва новоторжской и новгородской дружин с золотоордынцами. На Осугерее бысть сеча зла. И бежал нечистый, оставив кости свои на Браньей Горе. Церковь на той горе и стоит. Так что наше село — не Баранья Гора, а Б р а н ь я. От слова «б р а н ь я» — битва. И пали в той битве ханы Тавруй и Абаб. Видите деревню налево, то — Тавруево, а направо, за лесами, — Абабково. Нынешняя Пречистая Каменка — это Чисте Камень, ручей так назывался. А там вон Вельможье. Старое название — Вельможье. Именне Полторацкого было, известного елизаветинского вельможи. Ну, еще задам загадку: Кузнечиково — откуда пошло? Объясняют: кузнецы, дескать, жили. Ничего подобного, не кузнецы, а каменотесы, по-старинному — к у з а и. А н е ч и к и — это железные клинышки, коими камни раскалывали. Кузаи, нечики — получилось Кузнечиково. Любопытно, а? Наши кузаи известны со времен Петра. Неву в гранит

одевали, набережные в Кронштадте ставили. Последний кузай перед революцией номер.

Высохшим болотом, через полузапльвшие канавы добираемся до опушки леса и останавливаемся перед невысокой круглой сопочкой. По очертаниям видно, что сопочка насыпная, но уж больно невзрачная. Да ведь прошло-то, спохватываюсь я, побольше семи веков, надо думать, был в свое время курган внушительный. Посредине кургана яма, совершенно круглая, как будто бы ее раскапывали в давние времена, отчего походит курган на маленький потухший вулкан. Из кратера стремительной кипчакской стрелой, приопустив ветви, вырывается к небу прямая тридцатилетняя слзь. По брустверу алыми капельками рассыпана уже созревшая земляника. Мы рвем спелые ягоды и молчим. Нами овладевают думы. Хочется проникнуть мыслью в глубь веков. Что там было, как? «И бысть сеча зла...» А семь веков спустя содрогался Тавруев курган от артиллерийских канонад, и, может быть, кратер — не след застуша археолога, а воронка от тяжелого снаряда, разворотившего могилу золотоордынского хана, посеченного Костей-повоторжанином. Былину о богатыре Косте-повоторжанине Иван Михайлович услышал в свое время от Рериха, который исследовал древние курганы в здешних местах и записал сказание о Косте от местных жителей, в селе Заостровье.

Иван Михайлович читает былину наизусть:

Затучилася туча черная,
Принесла беду неминуемую.
Набегали на нас злы татарове,
Разбегался православный люд
В вековые чащобы дремучие.
Добры молодцы на лихих конях
Уходили в дружину хоробрую.
Снаряжался и крестьянский сын,
Брал с собой суму переметную,
Злой пригоронией родовой земли,
От сырой земли храбрость ратную,
С полевых лугов бел-румяный цвет,
Бел-румяный цвет, кровь — руду нашу,
По дорогам пошел, по обочинам,
По просторным полям Волги-матушки...

На обратном пути Иван Михайлович рассказывает о мальчишке Юре Савченко, привезенном в 1942 году в дерев-

ню Тавруево из блокадного Ленинграда. Ныне Юрий Савченко архитектор, лауреат Государственной премии, один из авторов Соснового Бора, города строителей Ленинградской атомной электростанции, города-гармонии. В книжке «Зажги свою звезду» так говорится об ученике и учителе: «Близким и родным человеком, с которым Юрий Тимофеевич дружит и поныне, стал Иван Михайлович Митрофанов, старый русский художник. От него Юра узнал о зодчем Василии Стасове, который воздвиг то чудесное здание, которое поразило детское воображение гармонией. То была церковь в селе Баранья Гора. Юрий Тимофеевич на всю жизнь сохранил в памяти волшебную картину — среди лесов и полей по голубому небу, омываемое воздухом, плывет пятикуполье храма. Особенно осязаемой эта картина становится, когда воскрешает Юрий воображением перелески и луга, запечатленные в пейзажах его старого учителя. Эти пейзажи не просто украшают комнату, они зовут к мечте...»

Я говорю Ивану Михайловичу, что не каждому дано зажечь звезду такой величины, как Юре, — целый город!

— Но свою зажечь дано каждому, — горячо возражает он. — Пусть маленькую, но обязательно нужную людям. В этом назначение истинного интеллигента.

Два километра мы идем два часа. Иван Михайлович все говорит и говорит, запас знаний у него, кажется, неисчерпаемый. Все в его устах звучит интересно, увлекательно: и легенда о Маришкиной горе, названной именем древней ведуньи, и рассказы о жальниках — славянских захоронениях, и занимательная повесть о таинственных рунических знаках на камнях. Не устает этот удивительный человек все познавать и познавать, интерес его к природе, к жизни, к людям неубывающ. За свою долгую жизнь он много где побывал и много чего видел. Не обойден известностью и почестями. Последние двадцать лет живет в родных краях, в старом дедовском доме и пишет и пишет свою землю.

Он ни единожды за два дня наших бесед не произнес слова «долг», но именно о долге перед землей, породившей тебя, перед людьми, вскормившими тебя, думаешь, слушая его, и начинает точить мыслишка, что вот не сделал я подобного, чего-то недодал своим мужикам, пославшим меня в мир, и висит на мне долг перед земляками.

В последнее время мы что-то редко стали произносить

слово «служение», вытеснило его «удовлетворение». Однажды случился у меня спор. Интеллигент-горожанин доказывал:

— Современный городской человек уходит от природы. Оставьте одного в лесу — растеряется, ни крова над головой не сумеет сделать, ни пищи добыть. Его надо учить сызнова тому, что родители его умели с детства.

Насколько я понял, мой оппонент беспокоился, простите за прямоту, о животе. Да, конечно, привыкшему добывать пищу в магазине туго придется в лесу: и застынуть может, и несъедобных плодов наестся. Но, я думаю, коль случится нужда, человек всему научится быстро, не пропадет. Меня беспокоит не живот, а душа. Чувства, критерии прекрасного взяты человеком у природы, и только она, как первоисточник, дает нашим чувствам наполнение. Она дает нам благородство. И все же... Как бы тонки и глубоки ни были наши чувства, взлелеянные природой, без истории они мертвы, бесплодны. История (то есть знание того, что было до тебя), воспринятая душой чуткой и глубокой, позовет к исполнению долга, родит желание «отчизне посвятить души прекрасные порывы».

После полудня мы собираемся в гости — в Кузнечиково, к Василию Ивановичу Ракову. Утром приходил его сын, передал приглашение. Тоже вот стало редкостью — ходить в гости по приглашению. Не па выпивку, не на вечеринку, не на торжество «по случаю», а просто-напросто в гости. Разница большая. В гости ходят для души, насладиться приятной, умной беседой.

О Василии Ивановиче Ракове я был наслышан. Бывший морской летчик, дважды Герой Советского Союза, доктор военно-морских наук, профессор Василий Иванович Раков — ученик Ивана Михайловича Митрофанова, учился у него в сельской школе.

Нас встречает на крыльце седой, стройный, сдержанно-приветливый человек, во всем облике которого угадываешь внутреннее благородство. Меня радуют такие вот крестьянские дети, ставшие истинными интеллигентами. Они не утратили того хорошего, что было в их отцах-мужиках, — добропорядочности, совестливости, самоуважения, трудолюбия, и все это, ограниченное образованием, культурой, высокими идеалами, служению которым они посвятили жизнь, делает их достойными подражания.

Мне позволили завладеть хозяином на полчаса. Мы

остались с Василием Ивановичем на крыльце. Дул пронзительный ветер, погода начинала портиться, и мы отдали минутную дань разговору на эту тему. Потом я говорю, зачем приехал, и спрашиваю, что думает Василий Иванович о современной сельской интеллигенции. Он, как человек военный, не любит общих рассуждений, мыслит конкретно:

— Клуб надо отремонтировать. Что за отговорка — нетиповой? Был умный председатель, построил клуб по собственному проекту, теперь, видите ли, предлог нашли: нетиповой, ремонту не подлежит. А клуба нет — нечего говорить и о какой-то культурной работе.

Я опять за свое:

— Как вы понимаете в наших условиях служение народу?

— Делать свое дело, — отвечает он. — Добросовестно и наилучшим образом. Где люди, там и ты. Чего тут выдумывать: служение было, есть и будет.

Чаевничали с пирогами, с вареньем — настоящее русское чаепитие, какое и встретишь теперь разве что в таких вот домах. Говорили о своей земле, о людях, которые тут жили, которые тут бывали.

...И отгостив на огненном пиру,
Из мира бурь пришла на мир в столицу.
Приветим же Бакунину-сестрицу
И милосердия приветим в ней сестру.

Это — Федор Глинка. Стихи посвящены Екатерине Михайловне Бакуниной. В здешних местах у нее было село Казинцыно, где впоследствии основала она больницу, амбулаторию и аптеку. А до этого была сестрой милосердия в осажденном Севастополе в Крымскую кампанию. Встречалась там с Широковым, со Львом Толстым. В 1881 году Толстой приезжал в Шевелино к крестьянину Василию Сютяеву, заехал и к Бакуниной, гостил у нее, говорят, с неделей. Окончила Екатерина Михайловна жизнь работницей Таложкенской больницы на восемьдесят первом году от роду.

Иван Михайлович рассказывает, его, как старейшину, внимательно слушают, а у меня вдруг мелькает мысль: «Вот цепь: Бакунина — Митрофанов — Раков — Савченко. Такие разные люди и такое разное время. Но корни!

Нет ли единого корня? Есть! Служение народу — вот корень, соединяющий в неразрывную цепь таких разных людей».

10

В долгой-долгой истории русской деревни есть удивительные полвека. Единственные. С двадцатых по семидесятые годы нашего столетия.

В деревню пришел учитель. Не в село, а именно в деревню. В селе школа открылась раньше. А в конце двадцатых — начале тридцатых годов, когда страна приступила к решению неслыханной по масштабу и значению задачи — сделать всю Россию грамотной, — в каждой третьей-четвертой деревне была открыта начальная школа.

Деревенская школа... Она была маленькой. Занимала одну избу. Редко-редко две. И учитель чаще всего был один. Вел все четыре класса. А нас было много. Мы тесно сидели на длинных скамейках (столяры не успевали стругать парты), выходили по одному к учительскому столу и складывали из разрезной азбуки первые слова.

На мое поколение как раз и выпала полувековая жизнь деревенской школы. Для нас ее открыли, и мы же ее закрыли. Когда я вернулся с войны и собрали нас на первое учительское совещание, помню, называли цифру: в районе возобновили занятия двести начальных школ. Сейчас осталось полтора десятка, и те вот-вот закроются. Деревни редеют, детей почти нет, молодое население концентрируется в селах, там строят новые — восьмилетние и средние — школы. Сельская школа продолжает свою историю, деревенская свою кончила.

Я помню многих деревенских учителей. Отпечаток их личности лежит на нас. Житейские добродетели в нас от отца-матери, идеи — от учителя. В нем персонифицировались новые для нас вещи и понятия: книга — учитель, справедливость — учитель, служение народу — учитель, правда, красота, культурность — все он. Мы очень любили своего учителя. Мы подражали ему, во всем хотели походить на него. И хотели стать учителями. И становились. Сейчас, встречаясь с педагогами старшего поколения, я узнаю в них своих сверстников, и как же отрадно видеть, что живет в них дух наших первых учителей!

Мы не обманулись в своем идеале. Когда настала лихая година, учителя и ученики вместе дрались с врагом. В моих записных книжках много имен, много перечислено подвигов, совершенных учителями и учениками, я расскажу о них. Но сначала о тех, кого знал лично. Благодарная память велит помянуть всех поименно, но что дадут читателю имена? Не лучше ли из многих выбрать одного? Пожалуй...

В Себеже, на улочке у самого озера, по сию пору стоит деревянный, на каменном фундаменте домик с высокими окнами. Не знаю, что в нем сейчас, а тогда, в сорок девятом году, был Дом учителя. Сейчас их почему-то не стало, позакрывали, и, кажется, напрасно. Хорошее было дело — учителя имели свой дом. Он не походил ни на какие другие профессиональные дома, к нему, пожалуй, более всего подходило название «клуб» в изначальном значении слова. Сюда учитель мог прийти когда угодно и с кем угодно: почитать, получить методический совет, посидеть с коллегами, помузицировать, а сельский, приехавший в город, и переночевать. Все в доме на приозерной улочке располагало к отдохновению. В нем стояла уютная домашняя тишина, ровно грели голландские печи, пахло книгами и чистым, стираным в озерной воде бельем. В ненастную погоду в окна дома проникал монотонный шум озера. В доме было четыре комнаты и небольшое зальце, служившее прежним хозяевам гостиной, в которой стояло пианино и мягкие кожаные диваны.

В эту самую гостиную и ввалились мы ватагой, распаренные десятикилометровым лыжным пробегом, и плюнулись без сил на диваны. Четверть часа мои ребята сидели вытянув ноги, беззвучные, как рыбы, и было похоже, что не ватага ворвалась в дом, а порыв ветра распахнул двери, шумнул по гостиной и затих. Первым отошел Степан Большаченков, увидел пианино, встал с дивана, откинул крышку и тронул клавиши. Пианино отозвалось раскатистым басом. Степан неуверенно заиграл вальс.

На звуки из боковой двери вышла невысокая пожилая женщина, оглядела неожиданных гостей и радушно сказала: — Можно поставить чайник и поить чаю.

Порфирий Фролов, старший из трех Фроловых и старшина похода, молча стал развязывать ситор и выкладывать на стол сухой паек. В женщине без труда угадывалась учительница. Неширокий белый воротничок темного пла-

тья и седые волосы подчеркивали глубину черных выразительных глаз на худощавом, с резкими складками лице. Я встал навстречу.

— Здравствуйте, — подала она руку. — Меня зовут Анна Ивановна. Милости прошу. Мальчики, вон там, в углу, чайник, налейте воды.

Так состоялось мое знакомство с Анной Ивановной Уткиной, перешедшее потом в большую дружбу на долгие годы.

Вскипел чай, ребята обедали, а мы сидели в уютной комнатке методического кабинета и говорили о детях.

— Вы смелый, не боитесь инспекторских укоров.

— В чем же меня укорять, Анна Ивановна?

— Ну как же: в снег, в мороз повели детей на лыжах. Даль-то какая!

Она произнесла это с такой интонацией, как будто изображала инспектора-зануду. Я рассмеялся и сказал, что меня самого так учили — не бояться.

— Вам повезло. Наверно, мужчины были вашими учителями.

— В старших классах — да. В младших — женщины. Мужские уроки нам преподавали больше отцы.

— Это вы хорошо сказали: мужские уроки... Знаете, сколько в районе учителей-мужчин? Пяти процентов нет. Война... А мальчикам нужны мужские уроки. Вдвойне нужны: отцы-то не вернулись. Очень меня это беспокоит. Вот ваши мальчики... Придет время — станут отцами. Что такое быть отцом? Каждый день, каждый час — всю жизнь? Этому ведь в школе не научишь, эта наука постигается только рядом с отцом. Не согласились бы вы выступить перед учителями, скажем, на такую тему: «Уроки отцовства». Мне кажется, вам есть что сказать.

Зимний день короток. Начало смеркаться, усилился ветер. По озеру заструились белые змейки. Если пойдет снег, к ночи разыграется настоящая метель. А машины нет. За нами к четырем часам должна была прийти машина — старенький детдомовский ЗИС. Дозвониться до детдома и узнать, вышла ли машина, никак не удастся.

Анна Ивановна волнуется:

— Десять километров ночью... Боюсь я за вас.

Невозмутимый Порфирий Фролов успокаивает:

— Не бойтесь. Дойдем.

Младшие его братья, близнецы Федька и Колька, не в

пример старшему егозливые и проказливые, уверяют, что десять километров — им раз плюнуть. Слово за мной. Я не ставлю никаких педагогических опытов, не преследую никаких воспитательных целей, понимаю одно: мы должны быть дома. Я, словно бы сам мальчишка, отправился по своим делам в город и должен возвратиться домой, потому что там будут волноваться, а я не могу причинять отцу и матери беспокойство, наконец, мне просто хочется домой, под свою крышу, в свою постель. И конечно же, в уголочке души таится желание выглядеть перед братьями и дружками самостоятельным: вот, дескать, не испугался ни ночи, ни метели, как ушел своими ногами, так и пришел. Кто знает, может быть, это и есть для учителя главное — не надевать на себя узды педагогических правил, не засушить в самом себе ребячьей души, которая ведь, в сущности, не покидает нас до седых волос, если мы сами не изгоняем ее. И я говорю ребятам:

— Надевайте лыжи, пойдем. Ждать нечего. Спасибо, Анна Ивановна, за уют.

Пока ребята собираются, Анна Ивановна отводит меня в сторону.

— Я слышала, у вас не ладится со вторым классом. Третьего учителя послали.

— Это вы о наших «бесенятах»? Есть такие. Чудо, а не дети.

— Да уж по лицу вижу, что чудо. — Она улыбается. — Сладу нет?

— Божье наказание.

У нее загораются глаза. У пожилого и, видать, не очень здорового человека глаза делаются как у нашей озорной непоседы Римки Вирули, главной заводилы в группе «бесенят».

— А это «божье наказание»... — Она словно бы запинаясь. — Не доверили бы мне? Я ведь тут, в методкабинете, оказалась случайно. Вернулась из эвакуации, учебный год идет, мест нет — так и застряла. По школе скучаю...

«Бесенят» было сорок. Поразительное зрелище представало моим глазам, когда, приняв детдом, зашел я первым же вечером к ним в спальню. Второклашки занимали самую большую комнату, точнее, две комнаты с вышпиленной внутренней стеной, ее заменял занавес из простынь, отделявший мальчиков от девочек. Еще не отворив дверей, я понял, что там война. Занавес был сорван, подушки

летали в воздухе, на кроватях дикая пляска, со всех сторон визг, крики, мое появление не произвело ни малейшего воздействия. Слово «бесенята» звучало для них слишком ласково, это были какие-то зверята: от одного замечания они вспыхивали как порох и приходили в стадное возбуждение. На них могло подействовать только ледяное спокойствие.

Я пошел по рядам, поднимая с полу подушки. На кровати у окна в командирской позе стояла большеглазая девчушка и, вскинув руку, кричала визгливым дискантом: «Струсили! Струсили!» Я взял ее руку в свои и почувствовал первическое подергивание пальцев: девчушка дрожала осиновым листом. Видимо, успокоительный топ пошел от меня к ней, возбуждение спало, и тогда я увидел, как в больших карих глазах ее стали копиться слезы. Не знаю, кто из нас первым сделал движение навстречу, наверно, оба разом, ее стриженная голова оказалась на моем плече, под рукой я почувствовал худенькие лопатки, и острая, однажды уже испытанная боль пронзила меня.

...Мы шли на фронт. Был холодный дождливый день. Измученные маршем, мы месили грязь, не разбирая луж, но колена мокрые, замызганные, согнувшиеся под тяжестью пулеметов, противотанковых ружей, патронных цинков. Показалась деревня. Она была только что отбита у немцев, фронт откатился за недалекий лесок, там ухало и гремело, и мы торопились туда. На улице в пелене моросящего дождя стояли женщины и дети. Командир велел нам подтянуться, мы выровняли строй, разогнулись, как могли, и вступили в улицу. От толпы вдруг отделилась девочка и подбежала к нам с позеленевшим винтовочным патроном в руке. Протягивая его нам, она пронзительным голоском просила: «Дяденька, убей немца за папу и маму». Кто-то из солдат поднял девочку на руки, передал другому, третьему — так и пошла она по рукам через строй и потом все махала и махала нам, пока не скрыла ее пелена дождя. Солдаты молчали, никто не проронил ни слова, только окаменели лица и злее топали по лужам сапоги. Я все еще ощущал рукой ее мокрое платьице, острые лопатки, видел ее глаза, полные неизбежного горя...

«Не ты ли была там?» — думал я теперь, стоя перед кроватью и прижимая рукой стриженую девчушку-забияку, позабыв, что прошли годы и та уже подросла.

— Как тебя зовут? — спросил я шенотом.

Она тоже шепотом сказала мне в ухо:

— Бируля.

— А имя?

— Римка.

— Спать надо, Римка.

— А ты побудешь со мной?

— Побуду. Ложись. Вот твоя подушка.

Римка улеглась. Я укрыл ее одеялом и присел на кровать. Сама собой установилась тишина. Полная, без скрипа, без шороха. Я медленным взглядом обвел неясные в сумерках кровати. Все сорок «бесенят» лежали, укрыв головы одеялами, оставив щелки для глаз, и все сорок пар открытых глаз звали и ждали, и я пошел по рядам, коснувшись каждого и сорок раз повторив «спокойной ночи».

Дома сказал жене:

— Нина, надо тебе пойти на эту группу. Ты найдешь в себе тепла на всех. Им холодно, понимаешь?

— Хорошо, — сказала жена.

За полгода мы чуть-чуть привели «бесенят» в норму. Но с учителями не вышло. Не могли совладать. Кончился учебный год, а ребят нельзя переводить в третий класс: программу не усвоили. Я поехал в район просить, чтобы отпустили Анну Ивановну. Заведующий пригласил Анну Ивановну и спросил, что делать с классом.

— Переводите, — сказала она. — Беру на себя.

Так пришла она к нам и па два года взяла «бесенят». Потом уж пошли они в пятый, и у них стало много учителей, но Анна Ивановна на всю жизнь осталась для них первой и единственной учительницей. Сейчас они приезжают ко мне, уже отцы и матери, партийные работники, военные, инженеры, ткачихи, машинисты, и, когда начинают вспоминать детство, Анна Ивановна у всех на устах.

Как она их учила, это вопрос методического мастерства, а вот как сделала из злых, нервных, недоверчивых забияк веселых, нормальных, чуточку озорных ребят, над этим я думал не раз и пришел к выводу, что в самой Анне Ивановне до седых волос не переставала страдать и радоваться чистая, светлая душа ребенка. Это удивительное свойство — понимание взрослыми ребенка, совершенно искреннее, без малейшего намека на подделку со-нереживание детских радостей и огорчений, счастья и горя, всех забот и тревог, и дается оно, видимо, от природы. Подделать его, изобразить, показать нельзя, невозможно,

ибо дети являют собой поразительной чуткости прибор, безошибочно узнающий подделку. Учителем надо родиться.

Много у нас было разных затей. Мы сами придумывали игры, ходили в походы и путешествия всем табором, делали ночные вылазки в лес и на озеро, у нас был лесной дом отдыха, в котором все должности от повара до директора занимали ребята, мы работали в поле и на лугу, в огороде и в хлеву — одним словом, жили самостоятельной жизнью, своей ребячьей республикой. Непременным участником всех наших дел и забот была Анна Ивановна. И не помнится за много лет случая, чтобы она на кого-то повысила голос или кто-то ослушался ее. Она стала и для ребят, и для педагогов, и для деревенских жителей нравственной нормой и высшим арбитром во всех конфликтах, оставаясь простым и радушным, скромным и сострадательным человеком.

Скромность и невзыскательность ее к жизненным условиям была поразительной. Она никогда не приобретала вещей, за исключением самого необходимого, у нее было одно, школьное, пальто и плюшевая рабочая жакетка, комната ее выглядела более чем скромно: стол, кровать, этажерка, диван и две табуретки.

Много лет спустя, когда она уже вышла на пенсию и взяла на воспитание девочку Тоню, «отписав» на нее все свои сбережения, мы с женой навестили их. В тихий вечерний час за чаем Нина сказала:

— Анна Ивановна, за столько лет не осмелилась у вас спросить, почему вы одна? Любили же вы кого-то?

— Конечно, — ответила она просто. — Разве я не такая, как все? И любила, и страдала, и ждала. Перед уходом его на войну, в четырнадцатом году, я дала клятву, что, если не дождусь, замуж не выйду. Так и осталась. А сказать, что одна... Я не знала одиночества. Как-то так получалось, что некогда было оставаться одной, все что-то надо было делать, делать...

Она была коммунистом. Когда меня перевели в редакцию газеты, я передал ей партийные дела. Мы состояли в колхозной партийной организации, а работы тогда, в пятидесятые годы, секретарю партбюро колхоза было ой-ой сколько! И вот опять, дела делами, а зачем ее понесло разводить пьяных дерущихся мужиков, никого, что ли, смелого не нашлось?

— Кто это вам сказал?

— Да уж сказали, Анна Ивановна.

— Был грех, не отпираюсь. Адеменок с мужем завмага задрались. Товар разгружали, выпили. И что между ними произошло — не знаю. Выкатились на улицу клубком. На улице ни души. Из окон глядят, а выйти не смеют. Пришлось мне, старухе. Страху натерпелась, что говорить. Они же такие здоровые, дунут на меня — полечу, как одуванчик. А ничего, урезонила. Сазониха, соседка, потом говорит: «Тебе, Ивановна, леший ворожит, таких бугасв уняла!» Что делать, приходится. Надо же кому-то и на бугасв выходить...

В другое время на этом я и поставил бы точку. А нынче не могу. Нет нынче на селе былого уважения к учителю. В том он и сам виноват. Многие молодые не держатся в школах, два-три года отработают — и хоть куда, только бы уйти. Не остаются их имена в памяти ребят, не оставляют они следа ни в ком и ни в чем. Совсем беда.

То, что случилось в тот день, о котором хочу рассказать, поразило меня ужасно, и в силу невероятности случая отнес я его к грустному недоразумению, а теперь вот вижу: нет, то было начало. Да, мы уже н а ч а л и к е у в а ж а т ь у ч и т е л я, теряя что-то очень важное в самих себе.

Телеграмма застала меня в Ленинграде: Анна Ивановна умерла. Я бросил дела и помчался в Себеж. А была зима, вечерело рано, и я не чаял в тот день добраться до Глембочина. Но в сельповской чайной встретил знакомых глембочинских мужиков, они пили водку и ждали машину.

— Садись, Афанасич, помянем Ивановну, добрый ушел человек.

Помянули. От мужиков узнал, что «район приказал хоронить в городе». Я сказал:

— Зря, надо бы в деревне, там будет кому сходить на могилу.

— А знаешь, — сказали мужики, — теперь и в деревне помнят до порога. Ивановна — человек заслуженный, хоят с почестями проводить.

Это правда: старейшая учительница района, член райкома партии, депутат райсовета, так что, пожалуй, правильно решили.

Утром все село и окрестные деревни вышли проводить покойную. Гроб с телом поставили на машину, колхоз дал

автобус для провожающих, и процессия двинулась по себежской дороге.

В городе нас никто не ждал. Зал не был подготовлен, пришлось выносить стулья, искать стол, скатерть. И хоть бы один венок! В спешке кое-как все устроили, стали у гроба — отдать последнюю почесть. Ждали учителей, ждали начальство. В Доме культуры шло учительское совещание, заседало и начальство. По наивности я полагал, что это и лучше: все в сборе, прервутся на час-другой, придут проводить своего товарища в последний путь. Оказалось хуже. Оказалось, прервать совещание-заседание нельзя, решали чрезвычайной важности вопрос: как догнать в производстве мяса Рязань. Учителей наставляли, как выращивать в школах поросят и кроликов, у председателей допытывались, не таят ли они «мясные резервы», достаточно ли прониклись «сознанием и ответственностью».

Я сидел в пустом зале у гроба и печально глядел на упокоенное, отрешенное от всех земных забот лицо. На сердце было тяжело. Почему на фронте, в боевой обстановке, мы находили время и возможности хоронить павших товарищей с почестями? А вот ушел наш друг, товарищ, коллега, всего-то и надо оторваться от стула, прийти и пять — всего пять! — минут постоять у гроба, побыть наедине со своими мыслями перед лицом вечного и неизбежного, — и не можем. Что случилось с нами? Когда и отчего так зачерствели наши души?

А время текло, беспощадное, неумолимое время. Оно равняет всех. Оно выносит приговор, что важно и что не важно в наших делах и поступках. Я отправился в Дом культуры, прошел за сцену, вызвал заведующего районо и сказал ему все, что думал.

— Что с тобой? Почему не отпускаешь учителей проститься, ведь уже темнеет?

Он произнес слова, положившие конец нашей дружбе:

— Тебе хорошо рассуждать, ты приехал и уехал, а с меня спросится.

Т а к о г о я уже не мог его уважать.

Заведующий районо все же одумался, объявил перерыв и отпустил учителей. В кабинете третьего этажа того самого здания, в зале которого совершалась гражданская панихида, заседание не прервали, не подошли даже к окнам, когда зазвучал печальный марш оркестра и процессия тронулась к кладбищу.

Пошел мелкий легкий снежок. Я стоял у свежего холмика земли, на душе было пусто и печально. «Прощай, добрый, мудрый друг. Учитель не умирает, пока живы его ученики».

...Мне теперь редко приходится бывать в Себеже. Но когда выпадает туда дорога, обязательно иду на высокое, с большими тенистыми деревьями кладбище, отыскиваю среди каменных надгробий деревянную пирамидку с красной звездой. Я вижу привянувшие цветы — кто-то помнит свою учительницу.

11

Сколько бы ни говорил я о своей земле, все кажется: чего-то недосказал, что-то важное выскользнуло из памяти, а может быть, просто осталось непонятым. Вот, например, земля и люди. Взаимная зависимость несомненна: человек отдает земле свой труд, она ему — плоды. Это везде, на всем земном шаре. Я же хочу понять с в о ю землю, и не в общем плане, а конкретно: формирует ли она о с о б ы й характер человека?

Может быть, это не заслоненное ни горами, ни лесами широкое небо, светлые, просторные дали, которые видит человек от колыбели до погоста, дают ему особую открытость души и щедрость натуры. Может быть, это спокойно-величавые реки, пронизанные солнцем леса рождают в нем особую доброту и незлобивость. Может быть, это скупые на хлеб серые подзолы и красные суглинки сделали его сострадающим каждому, кто попал в нужду или беду. Может быть, это утренняя разгорающаяся вполнеба заря и долго не угасающий закат, бездонно-глубокое небо, усыпанное алмазами, подарили его трезвому уму мечтательность...

Наверно, так, ведь не богом же дается характер, а отцом-матерью да родной землею. Я не встречал в других краях, тоже щедрых на характеры, т а к о й душевной открытости, т а к о й доброты, т а к о й милосердности и самоотречения, какие с годами, прибавившими разуму зоркости, нашел в нашей женщине: исковितянке, тверитянке, смолянке. Профессия газетчика водила меня не столько большаками, сколько проселками да тропинками, и там, в глухих деревеньках и в маленьких городках, я встретил по-

истине Великую Русскую Женщину, в характере которой собралось и отстоялось все, чем одаривала человека земля на протяжении многих и многих веков. После таких встреч иной раз думалось: вымри все вокруг, но останься о н а, ж е и щ и н а - м а т ь, и мы возродимся в том же качестве, с тем же характером своих предков — русичей. Да ведь так оно и бывало. Разве не опустошали вражеские нашествия целые уезды и губернии, разве не вырезали всех, кто дорос до тележной чеки, не сжигали в сараях целыми деревнями, не заваливали рвы и овраги расстрелянными, а мы поднимались вновь и вновь, не растрчивая своей доброты, не теряя сострадательности, не отказываясь от милосердия. Как небесную голубизну глаз, как солоmistый цвет волос, возрождали в нас наши матери добрую душу и широкую натуру.

С огорчением приходится сказать, что в наши дни появляется у части молодежи, преимущественно мещанской по духу, некое стремление пересмотреть «своих предков»: наивные, дескать, жили люди, напридумывали правил, огородили себя условностями вроде: будь честным, порядочным, совестливым, уважай, помогай, не обидь, чужого не возьми, не заносись, смиряй гордыню, — ветхозаветность какая-то! Современный человек не должен стеснять свою натуру, он волен жить, как душа велит, так освободимся же от условностей, ибо только не стесненный «заповедями» человек есть истинно свободный.

Что тут сказать? Кое-кому, конечно, удастся, по крайней мере внешне, «освободиться», щеголяют они, забывшие родство, безнравственностью, и нам начинает казаться, что меньше стало в людях доброты и сострадания, совестливости и порядочности. Будем, однако, помнить, что безнравственность всегда криклива, если хотите, агрессивна, она утверждает себя нахальством, это ее природные спутники. А истинные добродетели не любят показного, они таятся в глубинах нашего характера и не подлежат пересмотру. Их просто нельзя, невозможно пересмотреть, ибо питает их в е л и к а я з е м л я — н а ш а п р а м а т е р ь.

Наверно, мое утверждение покажется спорным, но долгие наблюдения привели меня к выводу: человек скорее всего срывается с нравственных якорей, когда уходит с родной земли, перестает ее видеть, чувствовать, понимать. Он как бы отключается от источника, питающего его. Я знаю многих, и сверстников своих, и людей помоложе, от-

вернувшихся от земли, встречаюсь с ними и вижу, как, обогащаясь вещественно, нищают они душевно. Утрачивается открытость души, ее мягкость, некоторая, если угодно, романтичность, доверчивость и милосердность, душа становится суше, расчетливей, эгоистичней.

И все-таки, как бы ни огорчали нас потери, должно верить, что и и к о г д а не исчезнут, не трансформируются качества нашего характера, потому что рожают нас русские матери, хранительницы русской души, взлелеянной чудоземлей русской.

О женщинах, встреченных мною на проселках, я и хочу теперь рассказать.

Двадцать лет спустя после войны в поселке Оленино судили бывшего полицая, и на суд в качестве свидетеля пригласили из Краснодара Владимира Ивановича Попова, командовавшего в Бельских лесах партизанским отрядом имени Александра Невского.

Владимир Иванович приехал и первым делом попросил свозить его в деревню Малявну, к Анне Дмитриевне Фроловой.

— Наша партизанская мать, — пояснил он. — По письмам знаю: жива-здорова, — но надо повидаться.

Тогда от Попова и узнали люди, кто такая Анна Дмитриевна. Она же все двадцать лет и словом не обмолвилась о прошлом и была крайне удивлена вниманием, которое проявили вдруг к ней журналисты.

Мне позвонил коллега, собкор областной газеты Павел Федоров, пригласил в Малявну, а где эта Малявна, он и сам толком не знал — где-то, мол, в Бельских лесах. Я побежал на вокзал, через два часа был в Оленине, встретились с Федоровым в райкоме партии. Как оказалось, Малявна расположена чуть не у самого истока Днепра, но дороги туда сейчас нет.

— Попробуйте, — сказали нам, — связаться с лесорубами, они в тех краях лес валят.

Пошли в леспромхоз, ночь провалялись в нетопленной гостинице, утром на электровозе выехали в поселок Пенский. Стояла поздняя осень, стывающая, слякотная, дождь перемежался снегом, мы глядели на свои городские ботиночки и качали головами: выправились, нечего сказать! В Пенском оказалось уютно: аккуратные домики, дощатые тротуары, березовые аллеи. Но тут нам нечего было делать. Дождались, когда лесорубы набьются в два крохотных





вагончика, прицепленных к мотовозу, и поехали дальше. А дальше — лес, лес. И через него по просеке — зыбкая узкоколейка. Постукивает мотовоз, раскачиваются вагончики, лесорубы дымят сигаретами, усмешно разглядывают «городских», дивятся, каким ветром занесло. Объяснили им, куда и зачем едем. Лесорубы присвистнули:

— Где-то должна быть такая деревня. От последнего уса километров десять, ближе никакого жилья нет.

Вот и последний ус — два узеньких рельса уходят влево, в сторону начатой делянки.

— А вам — прямо. Держите на петушиный крик.

И смеются, черти. Здоровенные парни с веселыми глазами, в резиновых заколениках, в дождевиках — чего им не смеяться над двумя чудаками, ринувшимися очертя голову в лесные дебри! Мы-то их понимали, они нас — едва ли. Потом, когда газета напечатает наш рассказ, когда его прочитают люди и потянутся к перу, чтобы выразить Анне Дмитриевне свое восхищение, тогда эти парни, может быть, и скажут кому-нибудь из новичков: «Везли мы тут однажды двоих... в ботиночках». Ну, а нам больше и не надо, такая наша работа.

Идти действительно пришлось на петушиный крик. Поначалу держали так, чтобы звон бензопил оставался за спиной, потом он стих, нас окружила глухая тишина предвзя, только чавкала под ногами раскисшая почва. Ни тропинки, ни следочка. Кое-где попадались налитые водой круглые ямины, местами над поваленными, обомшелыми деревьями стояли сухие, обезглавленные, побитые дятлами елки и осины — давние следы войны. В этих местах полгода дрались в окружении дивизии нашей 39-й армии. Где-то тут шли они на прорыв. Шли тремя колоннами. Вели их партизанские проводники, а было это короткой июльской ночью. На рассвете налетели стаи «юнкерсов» — и заварилась в лесу кровавая каша...

Вот уже тридцать пять лет, о чем бы ни писали — о земле, о людях, о жизни минувшей, о делах сегодняшних, — мы не обходимся без упоминания о войне, и, верно, еще не одно десятилетие — уже не мы, а другие — будут обращать свой взор туда, в сороковые годы двадцатого столетия. Война не кончилась на майских зальпах сорок пятого, слишком значительны ее последствия, и не хотел бы, да помянешь, будь она неладна.

Уже три часа продирались мы через заросли, обходя

болотины и завалы, а просвету не виделось. Сели за замшелый ствол, пообедали тем, что было в портфелях, пустили в унылое, мокрое небо сигаретные дымки. Ноябрьский день кончался, гуще пошел снег, и похоже было, что к ночи подморозит. Двинулись дальше. В последнем сумеречном свете дня успели заметить, что лес начал меняться — больше пошло берез, появились ольха и лещина — значит, близко опушка. Напряженное ухо уловило что-то похожее на петушиный крик. Скоро увидели и огоньки, тусклые, желтые — от керосиновых ламп в окнах. Потом паткнулись на изгородь, по обрадовались мы жилью рано: то была деревня Иванченки; до Малявны, сказали в крайней избе, версты четыре. Теперь под ногами петляла дорога, знали, что рано или поздно доберемся. Только Малявну искали зря: Анна Дмитриевна там не жила, переехала в Уфалово.

— Это недалечко, — утешала встречная женщина, — так тропочкой и идите, версты две. Тропочка к лавине через Кривену приведет, там и огороды начнутся — не заблудитесь.

Ладно, тропочкой так тропочкой, хотя где ее под свежим снегом разглядишь. Однако нашли и Уфалово, и невзрачный старый домишко, и его хозяйку.

Я так длинно рассказываю о дороге вовсе не для того, чтобы подчеркнуть особенность профессии, — бывает куда труднее!

Часом позже, обогретый и обсушенный, я мимолетно подумал: сколько же разного люду знавала русская изба! Обозники, всякого рода странники, побирушки, живущие христовым именем, артели мастеровых, охотники, все, кто запоздал и заблудился, замерзал и голодал, кого гнала беда и нужда, — все находили кров и очаг, кусок хлеба и охапку соломы в русской избе. И названо это было *р а д у ш и е м*.

Нам открыла невысокая, кряжистая, с крупными, но мягкими чертами лица женщина в фланелевом халате и в стоптанных баретках на босу ногу. Надо бы сказать «старуха», но уж больно это слово не шло ей, для своих семидесяти пяти лет была она на удивление подвижна, не горбилась, не шаркала и не шамкала — все зубы целы! — а уж речь повела, так и вовсе диво: задорно, с прибаутками, с теплым-теплым юмором в синих лучистых глазах.

— Боженька ты мой, ядрена Матрена, сухой питки нет на родимых! Все-все скидывайте, размундируйтесь, валенцы дам, шубы дам, чугунок затоплю...

Она побежала на двор за дровами. Павел Федоров по-синевшими губами деревянно так засмеялся:

— Точь-в-точь как Попов рассказывал. Так же вот и окруженцев выхаживала. «Боженька ты мой, ядрена Матрена»...

Всю ночь просидели мы в жарко натопленной избе. На столе посвистывал в третий раз подогретый самовар, тонко пахло березовым углем, и лежали высыпанные из посылочного ящика письма. Мы читали письма и слушали Анну Дмитриевну.

— Жизнь моя длинная-длинная, всякого нагляделась, всякого натерпелась, ой, не пересказать всего. Мужа кулаки убили, прямо на крыльце ножами зарезали. За мной бежали, из ружей палили — уберег господь, сховались с Ваняткой — полтора годика ему было — в лесу под елкой. В войну опять под расстрелом стоять довелось... Теперь одна как перст. Мужа схоронила. После первого-то семь лет вдовела, потом уж за лесника вышла, лесничихой стала. И то — пригодилось. Лес как свои пять пальцев знаю, куда ни заведи — выйду. Спонадобилось в войну. Сын Ванека тоже помер. После войны в райкоме работал, много ранений имел. Внук есть, тоже Ваняткой звать. В школе колхозных кадров учится, взрослый уже. Еще племянница. В Оленине замужем. Надула меня, окаянная. Соблазнила: поедем да поедем ко мне, избу продавай, у меня горя знать не будешь. Какое там! Чего и не знала, да узнала. На одно денег дай, на другое дай. Нет, думаю, милая, этак ты меня и по мирупустишь. Поеду, говорю, домой. На половину денег, которые остались, эту хатенку купила. В Малявне-то изба у меня новая была, перед войной ставлена, а тут — какая подвернулась...

— Анна Дмитриевна, — спрашивает Федоров, — Владимир Иванович Попов говорил, что вы семнадцать красноармейцев собрали по лесам, выходили и передали ему в отряд. Имена помните?

— Семнадцать или сколько там, не помню, а что собрала — истинно. Первым Ивана Грязнова нашла, чисто привидение был. Иду утром в лес — ах ты боженька мой, ядрена Матрена, что за тень меж деревьев шатается? Об одно обопрется, постоит, к другому руки тянет, шагнуть хочет, а силушки нет. Гляжу, будто наш, с ружьем. Подхватила — на руках у меня повис, в беспамятство впал. А за ружье держится, не выпускает. Двух девчонок-ягодниц замети-

ла, кричу им, чтоб помогли. Кое-как приволокли, я — под мышки, девчонки — за ноги, спрятали в амбар, две недели выхаживала.

Еще Кирилл Малый был. Прозвище ему такое дали после уж, в партизанах, а по фамилии он — Филиппов. Дитина куда с добром, головой матицу подпирал. А прозвали Малым. Этого совсем без памяти нашла, лежит под слкой, не шелохнется. Выломала две палки, напаялила кафтан с себя — вроде салазки получились. Приволокла... Потом еще Колька Большой, Николай Москвич, Вася Кутузов... Чисто гвардия — молодец к молодцу. Вот были ребятки, от голоду в окружении помирали, а не сдавались. С оружием все. Когда Володя заявился, говорю ему: «Вот тебе моя рота, воюй, а я с тылу подсоблять буду». Володя, то есть Владимир Иванович, сам военным фельдшером был. Окружили их, за Волгу не пройти, тут им газетку с самолета кинули, напечатано было, чтоб в партизаны шли. А попервости он тоже через мои руки прошел, в бане отмывала, белье стирала... Так и начали мы воевать. Осенью в сорок первом...

Электричества в те годы в деревнях еще не было, электрики тянули линии в первую очередь к центрам колхозов, и там по ночам желтело от огней небо, а Уфалово, Малявна, Иванченки и сотни подобных им деревушек жгли керосин, надеясь и не надеясь дождаться светлого праздничка. В лампе кончился керосин, фитиль зачал, и Федоров сказал, что сам домовой велит гостям укладываться спать и дать хозяйке покой. Анна Дмитриевна махнула рукой: какой там, дескать, покой, когда не знаешь, куда ночь девать, достала из печурки батарейный фонарик и пошла в сени долить в лампу керосина.

Я перед тем читал письмо, которое начиналось так: «Четырнадцатого августа исполняется двадцать лет, как бежал я от виселицы, и вот сию, вспоминаю вас, мама, и друзей...» Спросил у Федорова:

— Ты встречался с Поповым, не говорил он, как это было?

— Без подробностей. Упомянул вскользь. Он ведь скромный, в Краснодаре, оказывается, и не слышали о его партизанских делах.

— Все-таки это удивительно, Павел. Который год пишем мы с тобой о войне, и такие вдруг открытия! Почему они молчат?

— Не знаю. Наверно, не считают, что совершили что-то особенное. Надо было — делали. Как всякое другое дело. Спроси у них — скажут: «А как иначе?» По-моему, это от убеждения, что и н а ч е нельзя.

— Что касается себя — это так. Но молчать о подвиге товарища — это уж, извини, не скромность, а нечто противоположное.

— Да нет же! Пойми: и н а ч е нельзя. Ну нельзя — и все тут. Зачем нас с тобой понесло сегодня? Не могли дожидаться морозов и взять машину? Могли. Никто не подгонял. Неделей позже написали бы, только и всего. А мы поперлись неизвестно куда. Значит, и н а ч е не могли. И весь сказ.

Не первый раз заходит между нами этот спор. Не знаю, может, коллега и прав, но трудно мириться с тем, что так много прошло мимо, позабыто, не вспоминается, — это же такое богатство! Да и сами мы виноваты, чего уж другим пенять! Невнимательны бываем, все куда-то торопимся, спешим, а посидеть бы вот так, до полуночи, в каждой русской избе да порасспросить, послушать... И с т о р и я мимо нас идет, а мы лишь красшком, мимоходом заметим, черкнем в блокнотах две-три строчки — и дальше, дальше... Нет, как хотите, недоволен я и собой и коллегами, плохие мы летописцы. Вот прошло с той ночи в избе Анны Дмитриевны пятнадцать лет, деревни Уфалово, как сотен других таких же, уже нет, и если суждено им возродиться, то это будут уже другие деревни: иные дома, иные люди, иные мысли и дела, и этот вот разрыв между старой деревней и новой некому будет восполнить — цепь преемственности в нравственных нормах, в характере человеческом, в этом самом «иначе жить нельзя» ослабнет, нарушится и, не дай бог, порвется. А будь бы нами все записано-описано... Ведь мы передаем будущему наши дни...

Анна Дмитриевна продолжала рассказ:

— По лету это было, на втором году войны. Заболел Володя, застудился сильно. В какой деревне приключилось, в точности не скажу, в Смоленских лесах где-то. Налетели они, значит, ночью на деревню, немчуру побили, а кто-то, видно, донес — подкрепление подоспело. Нашим надо отступать, а Володя замешкался, спохватился — один на улице. Бежать некуда, он — в колодец. Спустился по цепи, стал ногами-руками враскорячку, о сруб держится, а вода, известно, ключевая, наверху лето, в колодце — кре-

щенский холод. Да так сутки почти и простоял, пока немчура не ушла и кто-то из деревенских за водой не пришел. Вытащили окоченевшего. С того с ним и приключилось: жар, ломота, бредить стал. Поместили его в избе Марфы Шубиной из Трепацкого, деревня такая недалечко. Я-то об этом не знала, а спонадобилось мне срочно найти его. Оделась нищенкой и пошла искать. В Трепацком у Марфы лежит, худущий, бородатый — не вдруг признаешь. Я, конечно, виду не подавала, что свои мы, дождалась, пока Марфа отлучилась, шепчу ему:

— Немцы у меня в доме, чин большой, всю избу занял, денщиков трое, вестовые так и лѣтают, офицеры наезжают... Подложи им, гадам, бомбу.

Он на подушках приподнялся, глядит, будто я рехнулась.

— В уме ли ты, мать? Как же вы, изба?

— Что об избе думать? Живы будем — наживем. И о нас не беспокойся, в лес уйдем. А случись, нельзя уйти, вместе с нами рви. Мы с хозяином подписку дадим, что по доброй воле...

Володя задумался и говорит, что рисковать не будем, надо все осмотреть, а ты, мол, иди домой и жди гостей. Гости появились вскорости. Сперва Ира Куренкова в доверие втерлась, уборщицей ее взяли. Проворная девчонка была, живо в лес сбегает, ягод господину офицеру собирает, что надо своим сообщит, от них мне приказ передаст. Потом сын мой Ванека заявился, тоже, значит, к немцам на службу пошел. Ему трактор дали, в Оленино за продовольствием стали посылать. По дороге взрывчатку от своих принимал. Все наладилось, да не придумаем, как эту бомбу в подпол заложить, в избу-то нас не пускают. Тогда говорю Ванеке: «Будем картошку копать». Соседи дивуются: «Что так рано, Дмитриевна? Август только пошел, погниет твоя картошка». — «Ничего, говорю, сгнить немчура не даст, сожрет, а копаю потому, что рожь собралась сеять». Накопали четыре ведра, понесли в избу — немец в крик: «Цурюк, матка, нельзя!» Я тоже в крик: «Не видишь, картошка, ядрена Матрена. Зима придет, немецкая армия все слопают. В подпол надо, ферштейн?» Обрадовался гад: «Гут, матка. Носи картошка. Слопаем». Ржет, как жеребец. Ладно, думаю, смейся, скоро отсмеешься. Носим... На дно взрывчатку, сверху картошку. Идет дело. К вечеру управились. Ванека в подпол спу-

стился, сделал что надо, проволочки во двор вывел. Стали ждать подходящего случая... Ждем-пождем, а от Володи хоть бы словечко. Выдал его кто-то. Слышно было, девки какие-то по деревням ходили, выпытывали. Кто-нибудь проболтался. Арестовали Володю и повели в деревню Толстые, к коменданту. А идти туда через Малявну. Ванека мой о ту пору на крыльце сидел. Видит, командира ведут. А я тут со двора вышла. Так сердце и прокололо. Онемели ноги — ни с места. А Володя моргает нам: дескать, не подавайте виду. И говорит конвойным: «Пить хочу». Конвойные мне кричат: «Матка, воды!»

Ох, где только силы нашлись. Побежала в сени, ковшик схватила, зачерпываю, а другой рукой сердце сжимаю: «Не колотись ты, проклятое!» Отдышалась, зубы стиснула — понесла. Протянула ему ковшик, а он берет да мой палец вот так стиснул, знак подает: держись, значит, и действуй. Тут офицер на крыльцо вышел, спрашивает у меня: «Знаешь этого человека? Он партизан?» — «Отродясь, говорю, не видала». Повели его, родимого. А мы все трое — я, Ванека и Ира — в сарай. Сын говорит: «Мама, Ира, сообщите скорее в отряд. Плохо дело».

Сообщить-то мы сообщили, да уж поздно было. Судили его скоро. Комендант, видишь, какую хитрость придумал: заставил Володю биографию свою писать, а сам и читать не стал, только руку сличил с другой бумагой и говорит: «Ты есть Попов». Расписки у него были, которые Володя за продукты колхозникам выдавал, с подписью и печатью. Тут и весь ему суд: повесить!

Повели Володю на виселицу. На краю деревни, за амбарами, стояла. Как подошел он к виселице, огляделся и просит руки развязать, чтобы перед смертью богу помолиться. И вот только веревку развязали, он солдату головой в живот как ударит — и под обрыв кувырком. В Обшу бросился. Стреляли по нему, в плечо ранили. Вечер уж был, туман, кусты кругом... Обшу переплыл, в Иванченки забежал, там его пересели да и в лес препроводили. А на другой день за моим Ванекой пришли, арестовали и в Оленино повезли.

Где-то письмо от Попова есть, поищите, после войны внуку моему писал, об отце его рассказано...

В пачке писем мы нашли давнее письмо Владимира Ивановича, адресованное мальчику Ване, сыну партизана:

«Я расскажу тебе, Ваня, каким смелым, мужественным человеком был твой отец. Его приговорили к расстрелу. Немцы казнили патриотов за поселком, там, где кладбище. Три солдата повели туда твоего отца, дали в руки лопату и велели рыть могилу. Он рыл... Как ни засохла земля, как ни тупа была лопата — и могиле приходит конец. Вдруг невдалеке раздался выстрел. Двое солдат кинулись в ту сторону. Отец твой распрямылся, показывает: хватит, мол, копать? Третий солдат нагнулся посмотреть. Страшный удар лопатой разmozжил ему голову. Отец схватил автомат и бросился через кладбище к лесу. В темноте не разглядел проволочное ограждение — распорол живот. Зажал рукой рану, бежит. На опушке немцы коней пасли, он от них в старый дот спрятался, переждал — и в лес. На третьи сутки добрался до отряда.

Ты, Ваня, гордись своим отцом и бабушкой Анной Дмитриевной. Помню, отец впервые сказал, что есть у него двухлетний сын, после симоновского боя. Просил: если что случится, не забывать тебя...

Жму руку. Друг твоего отца, бывший командир отряда

В. Попов».

— Следом за сыночками арестовали и меня. Полицай один явился, из местных. Приставил наган к лицу, пытается:

«Где твой сын?»

А я ему:

«Твоя мать знает, где тебя, собаку, носит?»

Он мне в зубы кулаком.

«Вот тебе за собаку. Говори, где сын?»

«Чего привязался? Сказано — не знаю».

Хвать меня за руку — и к стенке. Поднимает пистолет:

«Говори!»

«Не знаю».

Бах! Бах! Щенки от стены мне в лицо. «Убьет, — думаю, — гад эдакий». Кричу:

«Что ж ты, сволочь, делаешь? Ведь русский же!»

Оскалил зубы, позеленел, трясется:

«Весь род ваш искореню. Марш на улицу! Сейчас я тебя пуцну в расход».

И впрямь на улицу повел, под овраг. Прощаюсь с белым

светом. Молю только бога, чтоб силы дал помереть как подобает. О ту пору покойника несли по деревне. Народу много шло. Глядят на меня: «Куда тебя, Дмитриевна, никак, на расстрел?» Видят, не шутит мой мучитель. Тогда кто-то как крикнет: «Партизаны!» По большаку в самом деле на конях ехали, кто такие, не знаю. Ну, полиция этого такой страх взял, подхватился и деру, только и видели его. А я кустами-кустами да в лес. Лес он, батюшка, всех нас спасал...

На дворе пропели третьи петухи, за окном начинало рассветать.

— А взрывчатка, что же, так и лежала в подполе?

— Так и лежала. Наши пришли, разминировали. Мнестын сын не сказал, как взорвать, а то б я сама. А того офицера все равно убрали, не мытьем, так катаньем. Ира Куренкова важный пакет выкрала. В пакете приказано было поспешить со своими солдатами на выручку. А он и прочесть не успел — стащила Ира. Сами немцы его и расстреляли...

Всего, детки, уж и не вспомню. Много чего было. Муж после войны в тетрадку записывал, говорил, пригодится, мол, детям. А я так думаю, что ни детям, ни внукам ничего такого ни видеть, ни слышать не надо, пускай живут счастливо. Потерялась где-то тетрадка...

Утром мы уходили из Уфалова. Пал мороз. Выкатывалось из-за леса солнце, в его лучах серебрились поля, белые крыши деревень. К берегам Кривены припаялся тонкий ледок. Земля словно бы обновилась, кругом было так просторно, что хотелось смотреть и смотреть на щедрую нашу землю, где живут удивительные люди. Мы еще не однажды придем сюда и порасспросить подробности, и поздравить Анну Дмитриевну с запоздалой боевой наградой, и просто так, проведать, и всякий раз будем уносить в душе тепло ее живых лучистых глаз.

12

Я ищу слова, чтобы сказать теперь о матери. И чувствую: не могу отделить свою от других. Оттого ли, что рано ушел из дому и мы годами не виделись, оттого ли, что в силу профессии знал многих и многих матерей, но сложился в моем представлении образ матери-крестьянки, в котором своя как бы растворяется, ступшевывается, и я

боюсь приписать ей что-то от других и не сказать того, что было присуще только ей.

Вот даже как одевалась, не могу вспомнить. Во что-то серенькое. Ничего яркого не всплывает в памяти. Или все о н и одевались так неброско? Юбка да кофта, поверх что-нибудь теплое, на голове платок — все тусклых, невзрачных расцветок... И стоят они перед глазами, вечные наши труженицы, не знавшие праздного часа и не могшие сколотить копейки себе на наряды — все для нас, все нам, — стоят, похожие одна на другую, скромные, невидные, раньше времени постаревшие. Как тут выделишь с в о ю?

Мою мать звали Аксиньей Васильевной. Роста она была небольшого, синеглазая, характера спокойного, но упорного. Была очень памятьлива, до старости сохранила светлую голову. Говорила чисто, без «цоканья» и «чавоканья», образно, немного напевно. В нашей местности вообще говорили «почти по-питерски». Петроград был недалеко, мужики-отходники в иные города дорог не знали, ходили только в Питер, туда и детей отправляли, так что влияние города было довольно сильное. В молодости мать нанималась в услужение в культурные дома — провизора, земского врача, учителя — и, будучи от природы восприимчивой, научилась там, по ее словам, обхождению. А вот грамоту не постигла. И была охота, да родители в школу не пустили: ребят много, а она старшая, надо было нянчить. Сестры и братья всю жизнь, даже в старости, звали ее няней. А в годы ликбеза как-то не получилось: то ли учителя деревне не досталось, то ли возраст был уже не тот — так и минула ее грамота. Зато к книжкам всю жизнь испытывала почтение.

Книгоцеем я стал благодаря матери. Может, утоляла она через меня не разбуженную в себе страсть к познанию, может, хотела мне света, не увиденного ею?

Зимние вечера в деревне долги. Мужики собирались к нам сумерничать, сидят на лавках, дымят самосадом и плетут бывальщину. Мать любила и сама порассказать. Та бывальщина, как я теперь понимаю, была чистейшим сочинительством, рассказы выдумывались на ходу. Начиналось со случая: «Вот был случай...» И называлось имя, место, время. А дальше — всяк свое, не выходя, однако, из заданного сюжета. Например, встреча с волками. Или проделки колдунов. Или похождения плутов. Еще про нечистую силу, конные ярмарки, нищих, мастеровых, чинов-

ников, попов. Только не про землю, не про хлеб, не о хозяйстве — эти темы были не для посиделок: слишком серьезны, а головы мужиков и без того были забиты думами о земле и хлебе. И вообще мужики могли смеяться над чем угодно, даже над богом и царем — никогда не смеялись над нивой, скотиной, домом.

Когда я стал бегло читать, мать отвела мне на вечерних посиделках место под лампой и сказала мужикам:

— Хватит небылицы плести. Почитай, сынок, книжку.

Понимаете мое положение: стать центром внимания! Во мне и сейчас живет ощущение, что глядели мужики на книжку как на живого человека, зашедшего к ним на огонек и пожелавшего рассказать свою бывальщину. Перед новым для них рассказчиком смолкали наши деревенские сказители, ведь он повидал такого свету, куда и деды и прадеды мужиков и не хаживали. Наша деревня не знала книжек, они пришли с нами, первыми грамотеями, из школы. Книжки раз от разу «взрослели», и раз от разу тускнела бывальщина мужиков — так умирало на моих глазах искусство устного рассказа. Я понимаю, что это закономерная судьба фольклора, и все-таки мне чего-то жаль, будто я сам, причастный к этой судьбе, сделал что-то не так. Наверно, следовало бы подстегнуть память и хоть в малой мере восстановить потерянное. Но тут такое дело: и сами сказители глядели на свое сочинительство как на забаву, легко забывали и ничуть не жалели, что улетучивалась их бывальщина вместе с махорочным дымом через душник в небо. И мы, грамотеи, тоже не ценили этого искусства, не понимали, от чего отказываемся, что забываем, нас манил, звал, захватывал необъятный, неохватный книжный мир.

Где-то тут кроется корень нашей короткой памяти — в отношении самой деревни к своей собственной жизни. Легко она расставалась со всем, чем жила, что накопила и сберегла. Легко устремлялась в неизведанное. Может быть, время было такое? При воспоминаниях о тех вечерних чтениях приходит мне на ум вопрос: не в материнском ли любящем сердце таился исток нашего повального ухода из деревни? Вот пересчитываю поименно и сверстников своих, и тех, кто чуть старше, и тех, кто помоложе, и ни одного не нахожу в деревне. Всех нас выпроводили в город. Тому есть сто причин, по первой из них я считаю неистребимое: мать желает счастья своему ребен-

ку... А счастье в представлении крестьянки — «чистый» труд и жизнь без нужды. Работающие всю жизнь на земле, добывающие на ней свой хлеб и потому уважающие, берегущие, лелеющие ее, наши матери-крестьянки все-таки хотели детям своим иной судьбы, мечтали «вывести в люди». Никакой вины их тут нет, так сложилось на всем земном шаре, что человек, добывающий пищу, стремился избавиться от этого изнуряющего, в вечном страхе перед силами природы, труда, избежать унижительного положения «черной кости». Люди будущего, наверно, немало будут дивиться тому, что в истории человечества кормилец всех и вся — земледелец — был самым униженным и обездоленным. Так что от далеких пращуров это в наших матерях — желание детям не повторить их доли.

Много позже будут у меня сотни встреч с матерями-крестьянками уже другого, нашего поколения, и буду я допытываться, почему выпроваживают они детей своих из деревни. Матери отвечали: «Пускай в деревне остаются, но только не на поле, не на ферме». И не было в том беды, пока не переступили черты, за которой поле остается без сеятеля. Но может быть, и тут какая-то неизбежность: иначе что другое напомним обществу, что все оно держится на сеятеле, что основу всего сотворенного человеком составляет хлеб?

Но возвращаюсь к светлой памяти своей матери. Это она, как только встал я на ноги, вывела меня за порог, на зеленую улицу, в сад, в огород, а потом в поле, в лес. Она сказала: «Это стрекава — обходи стороной, это смородина — ягоду можно есть, а это морковка, сладкий корень, — для тебя посадила». Она научила останавливать кровь из царапины листком подорожника, оттягивать жар холодной стороной мать-и-мачехи, утишать голод мягкими дудками. Она показала, где плакала ночью по своим деткам кукушка, оставив на узорчатых листьях круглые светлые капли — кукушкины слезы. Научила резать ветки березы-веселки на веники, брать ягоду-журавину, искать гриб-боровик, учила видеть, думать, понимать. Учила не ломать, не топтать, не портить. Наставляла: «Не жадничай, бери, сколько съешь, другие после тебя придут, оставь им».

Устами матери опозитизированы природа и труд. Во всем она умела видеть красоту: и в обложных дождях, и в белых суметах, и в цветении сада, и в отбеливании

холстов, и в молотье цепями ржаных снопов, и в трепке мягкого, струистого льна. Она находила такие слова, такие присказки, такие поверья, после которых мне непременно самому хотелось пойти с отцом тошить дымную ригу, взять отрывающий руки кленовый цеп и молотить в лад со всеми снопы, сесть на грохочущую мялку и до одури в голове гонять по кругу лошадей. И удивительно, не чугунная тяжесть рук и ног, не тошнотворное кружение в голове запоминались после работы, а поющая в с е р д ц е радость, словно его ребячьего с е р д ц а коснулось что-то нежное и красивое.

Теперь я понимаю, что в нас от отцов, а что от матерей. Отцы более прозаичны, они учили нас навыкам и трезвому смыслу, матери — поэзии. Хранительницей красоты в доме была мать. Весенние «богатки» под матицей, пучки вербных веток на вербное воскресенье, веселые березки у крыльца на троицын день, намытые с речным песком полы к воскресенью, ржаные клецки с монеткой на счастье на сорок сороков — это была поэзия быта и труда, исходящая из каких-то далеких-предалеких, может быть, языческих глубин.

Я думаю, в мировоззрении, во всей сущности наших матерей-крестьянок был какой-то трагизм. Одна сторона их души отворачивала нас от земли, устремляла к иной, некрестьянской доле, другая же — очаровывала земным миром, привораживала, привязывала к нему накрепчайшей нитью любви и красоты, и мы, впитавшие то и другое, вылетели в широкий мир, словно воздушный шар на ниточке, привязанные к родному порогу. Отправив нас в дорогу с сухарем да материнским благословением, они вложили в наши души такие семена, которые с годами обнаруживают способность прорасти тоской и неудержимой страстью возвращения. Похоже, унаследовали мы это раздвоение, этот трагизм своих матерей, во всяком случае, сам я почувствовал его в полной мере.

К сожалению, с опозданием. Свою не успел понять, понял других, но изменить, облегчить их долю не в силах. А доля наших матерей — одиночество в старости. Одиночество двойное: и физическое и душевное. По образу жизни мы так далеко ушли от своих матерей, как не уходило ни одно поколение. Помню, взял я после смерти отца к себе мать, комнату отдельную отвел, вещички

ее разложил: «Живи, мама, в уюте, без забот, без хлопот». А она затосковала, скучнее день ото дня, наконец просит: «Отвези ты меня к Нюшке, сестре, не могу я повашему». Молодость понимает нужду старости просто: хлеб да покой. И я так думал, пенял матери: «Ну чем ты недовольна?» Когда же сам приблизился к ее годам и тоска по родным местам не дает покоя, понимаю, что никакой самой чуткой душевностью не смог бы возместить ее потерю. Облегчить можно, возместить нельзя. Как поздно мы понимаем, что н е л ь з я п е р е с а ж и в а т ь с т а р ы е я б л о н и!

Моя соседка по деревне, тетка Надя, двух дочек «выучила на интеллигенток», но ни к одной жить не едет, хоть и стара, и давление у нее; так, бывает, прижмет, что пластом лежит, ни воды принести, ни печку затопить. Не хочет с домом расставаться, с березовыми рощами вокруг деревни, с родником под кручей, со всем, что крепко-накрепко держит душу. Лишь в самую глухую пору, когда обложат деревню сугробы, уезжает она на месяц-два, и то не к дочкам, а к сестрам, что возрастом, а значит, и образом жизни ближе ей. Как-то при мне говорит она дочке и зятю, приехавшим погостить:

— Оставались бы у меня, дом просторный, красота такая, а работы и у нас какой хошь...

Усмехнулся зять:

— Ну ты и скажешь, мать!

И она, и они понимали: невозможно! Ни ей — к ним, ни им — к ней. Разные жизни. А что возможно, так это — жить порознь. Свой хлеб делает душу непокорной. И крайне чувствительной. Грусть и боль слышу я в словах тетки Нади каждую осень, когда собираюсь уезжать и навешиваю на двери замок. Она просит:

— Поживите еще. Выйду вечером на улицу, погляжу — окошки у вас светятся, и вроде бы не так одиноко.

Ну что тут сделаешь? Уносишь чужую боль в душе, саднит она там, не дает совести уснуть — только и утешения...

Ни в какие времена не знала наша деревня такого массового одиночества матерей. И наверно, каждая пятая из них — солдатская вдова. Если задаться целью, можно и точно сосчитать, хотя бы по памятным стелам, что ставят сейчас на сельских площадях, — там вырублены фамилии мужиков, не вернувшихся с войны: по сто пятьдесят,

по двести фамилий. Столько же осталось вдов: четыре-пять тысяч на район, на двести-триста деревень. Много, очень много!

Мы, наверно, привыкли к этому. По себе сужу: сколько езжено по деревням — тысячи раз! — и хоть бы когда остановился на улице, взгляделся в избы, в огороды, в поля и подумал: «А ведь все это поднято и в порядке содержится без мужиков, руками солдаток». Только позже, когда состарились вдовы и избы их выперли обветшалостью на фоне новостроек, меня пронзила мысль о скорбной и тяжелой доле, выпавшей этим женщинам, и я потерял покой. Я уже не мог только писать об их героизме, хлопотать за них в учреждениях, надо было взять на себя, на свои руки хотя бы каплю нужды хотя бы одной из них.

Много раз ездил я в Кокошкино, деревню на Волге, к Евдокии Матвеевне Никольской. Жила она одна-одиношенька, отдав мужа и трех сынов войне. Первым председателем была, колхоз после оккупации поднимала. Вижу однажды, без дров сидит старуха. Что на себе принесет, тем и топится. Говорит:

— Отдала соседу сенокос на усадьбе, обещал дров привезти, а не везет. Сено убрал — обо мне голова не болит...

Вернулся я домой, звоню приятелю, Вениамину Франтову, — у него мать тоже солдатка.

— Вень, бери топор, поедем в Кокошкино.

Нарубили мы дров раз, нарубили другой, председатель видит такое дело, говорит нам:

— Не вгоняйте, мужики, в краску — обеспечу.

Правда, проявил он заботу о вдовах, да только таким ли путем поворачивать нас лицом к чужой беде? Очень уж забывчивы мы стали.

...Было это в год круглого юбилея Победы. В Ржеве готовились к празднованию. Зашел я в кабинет, в котором планировали «юбилейные мероприятия», порасспросил, что и как будет, а потом говорю:

— Надо бы и солдатских вдов не забыть. В клубах, что ли, собрать да хоть спасибо сказать. На плечах солдаток ведь фронт стоял: кормили, обували, одевали... После освобождения района, насколько мне известно, ни одной лошади в деревнях не осталось, на себе пахали...

Женщина, ответственная за «мероприятия», поглядела на меня круглыми, искренне недоумевающими глазами и спрашивает:

— А как мы узнаем, кто сколько трудодней тогда выработывал?

От такого вопроса я, признаться, опешил. В самом деле, что можно было ответить уважаемой даме на ее вопрос, если она и для народного подвига желала бы иметь бухгалтерскую мерку, разграфить всех по степени заслуг и соответственно графе честь воздавать?

Вышел я из кабинета огорченный и встречаю в коридоре Александра Максимовича Самарина, председателя колхоза.

— Чем расстроен? — спрашивает.

— Да вот, — говорю, — не поняли. — И пересказываю ему наш разговор.

— Ай, слышь, — восклицает он, — вот спасибо, надоумил! И как только из головы могло вылететь?

— Ты о чем, Максимыч?

— Да о том же, о чем и ты. О солдатках. Мне-то вот как надо бы помнить! Вернулся, понимаешь, с войны — меня сразу в председатели. Прихожу па поле — бабы на себе борону таскают. О чем тут говорить? Впрягаюсь коренником — и до вечера. Выпряглись, сели на меже, тогда и говорю бабам: «Эту рощицу корчевать не будем, вырастет — по праздникам сюда приходиться станем». Земля-то, понимаешь, три года не пахалась, березняком взялась, на одну такую делянку я и указал. А бабы мне: «До той поры половину из нас на погост переносишь, не дождемся». А роща-то, понимаешь, поднялась. Да ты видел, та, что у клуба. Эх, черт возьми, надо бы исполнить обещание...

Самарин постарался. Накупил простеньких подарков, столы в клубе сдвинул, самовары поставил — и усадил за стол без малого сотни две солдаток. Поклонился в пояс и сказал:

— Давайте первым делом солдат своих помянем, как жили, повспоминаем, а тогда уж...

А тогда попли всем гуртом в одевшуюся молодой листвой березовую рощу — и как же много было там светлых слез, омывших вдовью душу! То плакала вечная скорбь «по убиенному», вечная скорбь русской солдатки.

К Самарину в тот день я не попал, был в другом колхозе, у Николая Сергеевича Чиркунова, на таком же собрании, и видел вдовьи слезы. Знаете, все, что было в клубе: плакаты, подарки, оркестр, речи, — все это было несущественно, не столь важно, как на других мероприятиях.

Для солдаток главным было то, что вот вспомнили о них, собрали всех вместе, — и хлынула в душу, захлестнула светлой печалью вся жизнь, и пришло тогда удивление самим себе: как только смогли! Как смогли землю возродить, как смогли хозяйство поднять, детей вырастить... Думалось мне тогда, что с такого вот момента и начинается осознание силы своей и народной, неодолимости жизни на родной земле и своей сопричастности бессмертию подвига.

Но вот беда: я не знаю более таких примеров. Не было в нашей округе еще таких «мероприятий», не говоря уже о том, чтобы сделать их традиционными, то есть не забывать в каждую годовщину Победы и солдаток.

Не всегда на материальные нехватки жалуется вдовы, чаще — на нашу душевную глухоту. Старость пугает не годами, а одиночеством — гласит народная мудрость. Одиночество же не развеешь ни рублем, ни куском, только добрым словом, только чуткой душой.

Богата стала наша жизнь, что и говорить. Посмотрите на деревню, воп какую строим — на манер города! Руками картошку не копаем — комбайнами. И одеваемся красиво, и, сидя дома на диване, театр смотрим, и на машине в отпуск едем куда душе угодно.

Но вот чего не повторяем мы настойчиво: «Не забывайте стариков! Не забывайте солдатских вдов, доживающих век в своих «перспективках!»» Не знаю, как в других краях, но в наших не видел я пока — ни в отстроенных поселках, ни в проектах будущих — квартир или интернатов для стариков. Понимаю, не настроили мы еще столько квартир, чтобы всех подряд вселять, то, что построим, даем в первую очередь работнику, а из пенсионеров какие работники?

В ответ обычно слышишь: «Да их и трактором не сдвинешь со своих мест. Не хотят они ехать ни в новые поселки, ни к детям в города». Ах, кто бы вложил в нас понимание вдовьей души! Не хотят, да! Пока ноги ходят, руки делают — не хотят покидать своих хат, садов, огородов, полевых тропинок, перелесков, где были любовь, счастье материнства, печаль проводов на войну, горе похоронки и где живет вечное, до конца дней, мучительно-сладостное ожидание. Не верьте, что солдатки смирились, нет, они привыкли, притерпелись, понимают разумом, что ждать нечего, но душа не смирилась, душе хочется ждать и

надеяться на чудо. Надеждой и ожиданием жив человек. Памятью жив. И усдут к детям, да возвращаются. И к многолюдью прибьются, да все равно на родные места, как на свидание, ходят.

По молодости, по душевной нечуткости или еще по какой причине считаем мы это блажью, капризом, старческим упрямством, а того не возьмем в толк, что это же драгоценнейшее наше наследство, капитал, которому цены нет, — чувство! Истинно богат человек чувством, душой доброй и отзывчивой, сострадающей, верной, щедрой — красивой душой, вот чем богат человек, а не сберкнижкой, не машиной, не дачей.

Вот что надо бы настойчиво повторять молодым: «Потеснее живите со стариками, повнимательнее будьте к ним, не запирайтесь в своем полированном и оковёрненном рае. Это лишь кажется, что одним вам спокойнее, на самом деле лишаетесь вы самого важного в жизни — наполнения собственной души добрыми чувствами. Зачерствеете ведь, голыми рационалистами станете, а потом и дети ваши такими же вырастут, и будете тогда запоздало сетовать на дурно воспитанное поколение».

...Матери наши крестьянки, в вечном долгу мы перед вами! Велика ваша любовь к нам, велико желание счастья нам. Но, простите великодушно, не могу таить вопроса: каждая ли из вас понимает, что любовь не должна быть слепой? Конечно, уже не вам, состарившимся в труде и работах, следует адресовать этот вопрос, а вашим дочкам, ставшим матерями. Но и вы, бабушки, еще действующие тут лица, причем самые мудрые и авторитетные. Был я недавно в деревне Русаново под Великими Луками, собрались там молодые матери и стали говорить о семейной жизни. Так вот первое, что они сказали, — не хватает нам опыта своих матерей. Оглянулись молодые на вашу тяжелую жизнь, сравнили со своей, счастливой, и сделали вывод: красивее вы жили! Красивее — потому что душевнее. Расчетливость нынешней жизни — вот что ихстораживает. Из расчета родили они по одному ребенку, из расчета не обзаводятся хозяйством, а тянут от вас, из расчета выбирают работу, а расчет один — облегченная жизнь. И уже почувствовали, как и в самих себе и в детях своих разрастается эгоизм, непомерное себялюбие, от которого более, чем от нужды, жить становится неудобно.

Где, когда, за какой чертой сплещет материнская лю-

бовь? Я думаю, тогда и там, когда и где мать теряет меру возможного. Возможно сегодня ребенка освободить от труда? Вполне. Возможно нарядить его во все, что пожелает? Да. Возможно одарить вещь такой стоимости, какой оценивалась в годы вашей молодости кормилица-корова? Конечно. Возможно содержать все пятнадцать лет его учения да еще лет пять, пока не станет на ноги? Возможно. Все стало в возможностях родителей. А где мера? Мера в согласии родительского сердца и ума. Сердце нежит, ум строжит. Сердце хочет, ум не велит. Сознание того, что дети делают свою жизнь сами, что ни одна мать не сможет прожить жизнь за сына, за дочку, должно подсказать меру возможного.

В природе нет более чуткого прибора, чем сердце матери. Я опять вспоминаю с в о ю. Желая нам лучшей доли, наша мать никогда не учила ни меня, ни брата, ни сестру кривым дорогам, легким путям, не учила ловчить, обходить, изворачиваться, поступаться совестью. Она учила д о с т о и н с т в у. Счастливая жизнь в ее понятии — это достойная жизнь. Чутким сердцем она улавливала наши «отклонения» и спешила их выправить.

Научить детей жить достойно и в нужде и в достатке — это тончайшее искусство матерей, и не дай бог утратить его! Между тем в обществе нашем уже обнаруживаются симптомы болезни, когда люди не прочь поступиться достоинством, если это сулит им какое-то благо, вещь, удобство.

...Зашел я как-то в магазин фуфайку купить — обыкновенную спецовку для работы на огороде. Примерил, оплатил чек, жду, когда упакуют. Занятому человеку кажется, что все вокруг него делается медленно. Собрался было поторопить упаковщицу, но взгляд мой остановился на ее руках. Странно двигались руки упаковщицы, как будто были они закреплены в одном положении, ладонями вниз, и она никак не может их повернуть. Минуты две наблюдал я с любопытством эту странную манеру и не вдруг сообразил, что упаковщица демонстрирует... золото. На восьми пальцах из десяти были надеты перстни. Разные. С камушками и без камушков. Круглые и овальные. Легкие и массивные. Бог ты мой, зачем столько? И хотя руки ухоженные, но от бумаги, шпагата, материи — заметно нечистые. Стою и думаю: сказать или не сказать? Мне, знаете ли, захотелось этак на старинный манер: «Суда-

рыня, неужто никто не надоумил вас на предмет дурного вкуса?» Но ведь обидится, за грубость сочтет. Промолчал, бог с ней, со временем поймет. Сейчас она просто опьянена: «достала» — вот и демонстрирует. Свою значительность показывает.

Запал мне этот случай в голову, стал присматриваться к женским рукам. Понес в ателье костюм перешить, гляжу — у молоденькой приемщицы на синих от копирки пальчиках три перстенька сверкают. Поскромнее, но тоже не бедно. Потом у банковской служащей, у буфетчицы ресторана, у кассирши универмага заметил золотой блеск на руках. Тогда и понял: мода! Новая мода пришла. Но ведь всякой моде прилична мера. Переступишь меру — уже безвкусица. А вкус — это культура. Неужели носительницы перстеньков не улавливают разницы между «иметь» и «быть»?

«Иметь много» становится модой. Имеющего мало уже обходят уважением и даже вниманием. Вот еще один любопытный случай расскажу. Живу я в деревне. Поутру хожу в лес. Когда начинаются грибы, беру плетенку: попадется боровичок — положу в корзинку. Но специально искать особого интереса нет. Часто встречал в лесу старого своего знакомого, он в городе живет, служба его начинается с десяти, и он до службы любил часок-другой побродить по лесу. Встретимся, присядем где-нибудь и рассуждаем, что лес — вот уж действительно зарядка: и нервы успокаивает, и душу на мажор настраивает. Другой раз и помечтаем: ах, хорошо бы всех вывозить до работы — для настроения, как бы славно дела шли!.. А вот года два назад встречаю знакомого и — не узнаю. Махнул он мне издали рукой, повернул в сторону — и вижу я за плечами у него рюкзак, а в рюкзаке, похоже, ведро, а в руках корзинка. Да не один приехал — с семьей. Слышу, говорит сыну (видимо, на его вопрос, когда домой): «Пока не набьем, не поедем». Вот, оказывается, зачем ему рюкзак: корзинку наберет — в рюкзак перевалит. Пошел за ним следом — любопытно стало. И знаете, вел он себя не рвно, торопился, в движениях нетерпеливость: скорее, скорее, пока народу не наехало. Э, думаю, теперь ты такую зарядку получишь, что на посетителей в своей конторе, чего доброго, рычать начнешь, и дела на ум не пойдут, свою не ут о л е н н о с т ь переживать будешь.

«Пока не набьем»... Это, похоже, становится чуть ли не

правилом, чуть ли не целью жизни у некоторых людей. Набивают грибные кошелки, набивают рюкзаки лечебными травами, ведра — незрелой ягодой, чтобы дома набить банки, мешочки, пакеты, коробки, забить ими полки, а потом половину выбросить как неупотребленное, испорченное. Подвалы в гаражах, сараи, кладовки набивают инструментом, запасными частями, банками краски, мешками цемента, досками — всякой всячиной, нужной и ненужной, где-то подобранной, откуда-то утащенной, купленной про запас, выменянной по случаю. Квартиры набивают коврами, шкафы — книгами, серванты — хрусталем, шкатулки — золотом.

Желание иметь много превращается в болезненную страсть накопительства. Уже и не надо, а покупают. Знает, никогда и никуда не пригодится, а тащит. Понимает, что испортится, пропадет, а волочет в свою пору. И оказывается, что предела этому «пока не набьем» уже нет. Набил один мешок — тянет взять второй и этот наполнить. Набил сарай — тянет расширить, пристроить — и пихать, и пихать туда все, что под руку попадет.

И происходит тогда с человеком метаморфоза: он нищает. Нищает душой. Чувствами. Чем больше дорогих вещей, тем меньше высоких чувств. Как будто, приобретая вещь, он расплачивается частицей своей души. Ну а душа — это такой сосуд, который не терпит пустоты. На место щедрости, отзывчивости, радушия, доброты, сострадания, на место высоких и красивых чувств заступают скарденность, черствость, завистливость, жадность. Появляется стремление не показать, спрятать от чужих глаз и стеречь, стеречь... А для этого надо обособиться, замкнуться, не звать к себе ни соседей, ни друзей — надо остаться одному, остаться при своих вещах.

Грустную повесть поведала мне старая женщина. Сама она работала служащей загса. Сколько людей благословила на счастье — не счесть. Тонкой и чуткой души человек. А жила скромно, без мужа — он погиб на фронте — вырастила троих детей. И были дети, как она говорит, п р а в и л ь н ы м и. Двое такими и остались, а вот с третьей что-то случилось. Выдала замуж в состоятельную семью, радовалась: ну, эта горя знать не будет. И вот через сколько-то лет поехала мать навестить счастливую дочь — и не узнала. «Сюда, мамочка, пожалуйста, не садись, ты с дороги, на тебе пыль, а ковер очень дорогой...

Здесь, пожалуйста, осторожней ходи, знаешь, саксонский фарфор, заденешь нечаянно... Ты уж не обижайся, мамочка, мы тебе вот тут, в прихожей, раскладушку поставим...» Такими условиями и предосторожностями огородила дочь мамочку, что у той пропало желание остаться в «доченькином раю» — села на трамвай и уехала на частный угол к сыну. Поменяла дочь дорогую мамочку на дорогие вещи.

Других же начинает распирать самодовольство. Упаковщица, нанизавшая на пальцы восемь перстней, живет напоказ, с вызовом: я, дескать, не как все, я выше других, потому что у меня больше. Один мой знакомый задался целью иметь сто рубак. Шестьдесят он уже купил и прямо-таки на глазах менялся: осанистей стал, говорит с апломбом. Спросил я как-то у него, зачем столько рубак, из моды ведь выйдут, устареют. Он говорит: «Нынче мода не на покрой, а на количество». Тут, по-моему, что-то от кулического тщеславия: «Завидуйте: мы все могём». И вот что еще характерно: демонстрируют они свое «все могём» на детях — принцами и принцессами наряжают. Ну а принцы и принцессы очень скоро усваивают одно-единственное правило — «дай». Изучение микроклимата в таких семьях показывает, что у детей затормаживается развитие стержневого качества характера — готовность к действию. Свойственное человеку от природы, оно в условиях потакания как бы засыхает на корню — и вырастает человек безвольный, не способный достичь чего-либо сам, но с непомерными запросами потребителя. В конечном счете обществу будет «подарен» чистейшей воды эгоист.

Эгоизм лежит в основе моды «иметь больше других» и движет ею. Понаблюдайте за поведением такого человека — и вы увидите, что весь он сосредоточен в себе, на себе и не чувствителен ко всему, что «вне себя». Иначе сказать, не чувствует другого человека. Он может вас выслушать, даже понять, даже помочь, но способности чувствовать вас, ваше состояние, вашу боль, то есть сопереживать, сострадать, он уже лишился. В сущности, и с категорией самодовольных, живущих напоказ происходит то же, что и с «причунцимися», — замыкание, отдаление, обособление от людей. Их удел — одиночество.

Иметь больше — желание естественное, закономерное.

Для того и работаем, чтобы больше иметь, лучше жить. Своим трудом создаем блага для себя. Да ведь и просто это: чтобы делать вещи, надо их покупать. Так что само по себе стремление «иметь» полезно и похвально. Но вот желание иметь непременно больше, чем другие, больше, чем нужно, — тут уж, как говорится, получается крик моды. На мой взгляд, крик моды возник и приобретает уродливую форму «кто кого переплюнет» потому, что культ вещи не идет рядом с правилом разумного предела. Средствами массовой информации мы довольно активно и напористо пропагандируем вещь. Но это не аттестация вещи, не реклама ее достоинства, а, как бы сказать... пока человек среди вещей. Памятно мне то время, когда в колхозах ввели гарантированную денежную оплату труда. В деревню пришли деньги, а за деньгами — вещи. Так вот газеты в ту пору прямо-таки захлеб расписывали, сколько и каких вещей приобрел передовик производства, как обставил избу, что носит сам и его семья, за какой стол садится. И было даже неким эталоном «подавать» хорошего работника в окружении дорогих вещей. Правда, скоро спохватились, умерили восторги, но толчок был дан, состязание началось. Казалось бы, самое время заговорить с той же напористостью о разумном пределе, о культуре вкуса, о сопротивлении вещизму, но газетчики слонили перья. Сложили якобы потому, что никто еще не установил с научной точностью «предел потребления». Научно — да, не установлено, но народом давным-давно определено, что тут хорошо, а что плохо. Народные критерии разумного потребления зиждутся на высокоправственном принципе — «для себя не в ущерб другим». Отрежь столько, сколько съешь, возьми столько, сколько надо, запасай столько, чтобы не выбрасывать... Уважение к вещи, к продукту — ко всему, что сделано руками, воспитывалось веками как уважение к труду, потому что за каждой вещью народ видел труд. Всегда считалось непорядочным обобрать лес, вычерпать рыбу съесть, захватить, скупить так, чтобы не досталось другому. Всякая непомерность осуждалась. Народные критерии разумного потребления чрезвычайно важны в условиях общенародной собственности, ибо приобретенные сверх меры, сверх потребности вещи не могут быть пущены в дело и, следовательно, обречены на безделье, на непотребление, на порчу и в конечном счете на выброс, а это не что

иное, как впустую растраченный народный труд и народное богатство, что по логике должно бы не только осуждаться, а и наказываться. Так что нормы, на которых должно строиться воспитание и пропаганда «разумного предела потребления», есть.

13

«Районщики»... Отношение к ним разное. Чаще слышишь, что это, дескать, работники средненькие, талантами не блещут, кругозора ограниченного, если что и достойно похвалы в них, так это исправность исполнения. Слов нет, есть и такие. Как и везде. Большую часть своей жизни я вращался в среде «районщиков» и скажу, что немало повидал людей талантливых, характерами стойких, близко к сердцу принимающих народные нужды. Бывает, судьбы их складываются драматично. Их снимают, понижают, бросают на прорывы, переводят с места на место, взыскивают за строптивость и своеволие, ругают за отставания и забегания, наказывают, если все в ногу, а они не в ногу. Словом, не позавидуешь.

Но я собираюсь говорить не о них, а о... женах. Быть женой «районщика» — доля нелегкая. То и дело менять работу, редко по призванию и желанию, чаще — что подвернется. Ломать устроенный быт, привыкать к новому месту и людям, оставлять друзей, обрывать привязанности, волноваться за детей: за десять лет пятая школа... И надо быть другом мужу: входить в его заботы, понимать его дело, разделять убеждения. Говорят: ну, разве станешь за так и м мужем личностью? Мол, жена начальника — и этим все сказано. Все-то все, да совсем не то. Облегчая заботы мужа, верно служа ему умом и сердцем, жена районщика проявляет подчас поистине незаурядные качества характера.

Из многих-многих имен я выбираю одно, признаваясь заранее в своем неравнодушии. Теперь это можно...

...Апрель был холодный, с дождями. В последних числах месяца, когда небо приподнялось и на березах набухли почки, Виктор Иванович Шелков приехал в Лесовые Горки, приозерную деревню на Валдае. Он долго стоял перед старым, с оторванными ставнями домом, грустно оглядывая молодые березки и липки, посаженные перед ок-

нами, черные дуплистые ивы вдоль улицы, крутой каменистый берег ручья, голый заозерный лес — все для него было полно скрытого значения, — потом ступил на крыльцо, отомкнул замок и вошел в избу. Первое, что он увидел, — портрет жены в простенке. Нина улыбалась светло и радостно. В больших глазах ее жило ожидание. Он сам делал этот портрет. Как-то, возвратясь из командировки, увидел ее на перроне, не удержался, вскинул фотоаппарат — так и остались навсегда в глазах постоянное ожидание и радость встречи. Сейчас у него больно сжалось сердце, он снял шапку и низко склонил поседевшую голову...

Все шесть месяцев, прошедшие после смерти Нины, Виктор Иванович не жил дома — ни на городской квартире, ни в Лесовых Горках. Горе гоняло его с места на место, он обитал то у друзей, то брал в редакциях командировки и кочевал по районным гостиничкам, то уезжал к родственникам. И хотя встречали его повсюду душевно, он нигде не задерживался более недели: тепло друзей не могло растопить тяжелой льдины на сердце. Гонимый горем, он мотался по дорогам, по селам и городкам, в которых прошла их юность, где жили и работали они в разные годы.

Дорога растянулась на добрую тысячу верст между Псковом, Новгородом и Тверью — тут в многовековой пласт сельских погостов уходили и его и ее мужицкие корни, тут жили их родичи, одни — еще продолжавшие крестьянское начало, другие — уже оторвавшиеся от земли, тут прошла и их худо ли, хорошо ли прожитая жизнь. В поездках он много думал и терзался тем, что не находит своих следов. Их помнили, в разговорах о прошлом он часто слышал доброе слово о себе, о Нине, о некогда сделанных ими делах, иногда его благодарили за уже позабытую им помощь кому-то, но все это было не то, чего искала душа. Душа хотела найти какой-то иной след, значительный, нестирающийся, ибо только теперь он начинал постигать, сколь мимолетна, в сущности, человеческая жизнь: отшумела березовой листвою, опала и ушла в землю, оставив горстку праха. Дух не смирялся с этой беспощадной истиной, и Шелкову казалось, что жизнь прожита не так, слишком суетно, растрочена на мелочи, в нем появилось и все росло, угнетая и без того утомленный разум, чувство вины перед покойной за то, что это он не дал развернуться заложенному в ней таланту, не дал совершить

ей какого-то главного дела, которое надолго оставило бы в памяти людей ее имя.

Вместе в запоздалым раскаянием приходило и осознание своей новой обязанности — жить как бы и за нее, сделать то, что не смогла, не успела она. Иногда он пробуждался среди ночи, вскакивал, словно от толчка, хватал лист бумаги, который по укореившейся привычке клал у изголовья, и торопился записать пришедшую во сне мысль или чувство.

«...Всю ночь за окном стонет ветер. Он дует с той стороны, где лежишь ты, и мне слышится в нем твой зов и мольба.

Я встаю и смотрю за окно. Чаша моих печалей полна. В ночь, когда стонет ветер, я думаю о том, что где-то, в каком-то неведомом хранилище, каждому человеку приготовлена его чаша, и все люди хотели бы ее избежать, оставить нетронутой. Но редкому удастся не испить из своей чаши печалей. А те, у кого доброе сердце, выливают до дна. Доброта и печаль — родные сестры, потому что доброта берет на себя чужую боль, а боль всегда замешана на печали. Ты выпила предназначенную тебе чашу, ни единожды не отклонив ее, ибо для тебя чужая боль была как своя.

И я пил из своей, но всегда вместе с тобой, ты даже норовила взять побольше, а теперь вот разделить не с кем, и чаша моих печалей стала чересчур тяжелой. Но выпить надо. Отклонить, передать другому нельзя, невозможно...»

Или где-нибудь на дороге его поражало вдруг печально подслушанное слово, блеск отраженного луча, какой-нибудь запах, цвет, мелькнувшее в толпе лицо, и мгновенно возникала цепь ассоциаций, которая приводила все к тому же чувству вины и ответственности.

«...Кажется, синицы не умирают: столько лет вижу на березе одну и ту же птицу, слышу одну и ту же песню. Человеку не дано отличить синицу-мать от синицы-дочери, и потому кажется, что синицы живут вечно.

В вагоне через две скамейки напротив сидела девушка — девчушка лет шестнадцати. В синем пальтишке, в вязаной красной шапочке. Круглое лицо, курносая, голубые чистые глаза, сережки-капельки в ушах. Поставила плетенку на колени, обхватила руками, оперлась подбородком и глядит на мир таким доверчивым, светлым взглядом,

такая добрая, открытая душа читается во всем ее облике, что я не мог отвести глаз, смотрел и смотрел... Боже мой, да это же ты! Такой ты была сорок лет назад. Я узнал тебя и подумал, что эта девушка, чистая русская душа, повторит тебя, будет такой же простой и доброй, чуткой и открытой людям, и песня, пропетая тобой, не умерла, живет в юной незнакомке, она уже подхватила, и кто-то слушает ее, у кого-то вырастают от песни той сильные крылья...»

Скоро он понял, что пишет письма. Безответные письма другу, в которых заново постигал человека, прожившего с ним всю жизнь, и в этом постижении была горькая радость неожиданных открытий. Так он открыл, что это она спасает его сейчас от одиночества, ибо многочисленные друзья их семьи — это, в сущности, ее друзья, она их встретила, ввела в дом, а он лишь спустя какое-то время разглядел в них родственные души. Он только теперь обратил внимание, что все они не из его круга, не интеллектуалы, как принято говорить, а обыкновенные, простые, незаметные люди из числа конторских служащих, больничных санитарок, учительниц, скромных работниц. Из-за своего максимализма он трудно сходил с людьми, был строг в дружбе и часто порывал отношения, не прощая друзьям слабостей и недостатков, а Нина, наоборот, прощая, удивительно точно умела угадать под наносной внешностью подлинного человека и как-то незаметно, без всякой преднамеренности убеждала его, когда он был несправедлив к людям.

Среди друзей Шелковых самыми близкими, пожалуй, были Петр Петрович Лукашев и его жена Сима, но именно встречи с ними и избегал Виктор Иванович все эти трудные для него месяцы. И сейчас, приехав в Лесовые Горки и решив провести здесь весну и лето, он не известил друзей об этом: слишком сложными стали в последнее время их отношения, и надо было не спешить с окончательным приговором. Что-что, а мудрость времени он научился ценить.

Последняя апрельская туча пролилась над Лесовыми Горками бурным дождем, наступил теплый, солнечный май. Виктор Иванович поднимался с рассветом и уходил в лес. Он шел всегда одной и той же дорогой: через увалистое поле, вдоль старой траншеи, просекой — к перекрестку неторных лесных тропинок. Тут останавливался,

садился на поваленную ветром усохшую сосну и закури-вал.

Вокруг был чистый бор. Старые сосны стояли негусто, без подлеска — когда-то тут прошел низовой огонь, молодые деревца свалились и сгнили, а новые почему-то не прорастали, — и было кругом просторно, светло, все располагало к размышлению. Иногда он паламывал сухих веток, разводил костерок, протягивал к огню руки и ловил себя на желании попросить чего-то у леса, у неба, у пробуждающейся земли, а чего, и сам не знал.

Сюда, к этой сосне, ходила она. Потом, когда он оправился от болезни, выгнавшей их в деревню, она с наивной улыбкой призналась: «А я молилась. И вымолила тебе у леса здоровья». Вот здесь она сидела, подперев голову руками, и, дав волю беззвучным слезам, молила лес, солнце, ветер — все силы природы, чтобы послали ему здоровья. Сила ее доброго сердца была так велика, что слепая и глухая природа вняла молитве. Она была одной из тех русских женщин, которые на таких вот лесных полянах, на оплывших траншеях вымаливали у беспощадной войны жизнь своим мужьям-солдатам.

В часы таких размышлений переполненное запоздалой благодарностью сердце подсказало ему посадить памятную рощу. Он стал ходить в лес с лопатой, выкапывал в густой заросли на опушке ровные березки и носил на околицу, на пустырь над говорливым ручьем.

«...На берегу ручья стоит сосна сухая, ее когда-то молния разбила, вот тут и посажу, стволами написав любимой имя. Когда поднимутся, раскинут кроны, и тень прохладная на берег ляжет, рыбак усталый или путник утомленный найдут в тени отдохновенье и в шелесте листвы услышат повесть о любви...»

Он не дописал в блокноте строки, показалось, что кто-то позвал его. Поднял голову — тихо, только шумел ручей на перекате. Выходило солнце, первый луч упал на ветки засохшей сосны — словно руки в немой мольбе, протянутые к небу. Сосна напоминала о войне. Такие же деревья, простирая обугленные ветви, стояли на околицах сожженных деревень, у разбитых большаков, в старых парках. Олицетворением страданий остались в его памяти мертвые деревья, и, может быть, поэтому все последующие годы им владела страсть сажать новые, он сажал их на школьных дворах с ребятами, сажал в деревенских и город-

ских скверах, и даже здесь, в Лесовых Горках, начал не с ремонта обветшалого дома, а с того, что посадил аллею берез и лип. Теперь вот — памятную рощу...

— Виктор Иванович, здравствуйте. Второй раз окликаю...

Он обернулся. Невысокая молодая женщина в сером плаще стояла в пяти шагах от него, напряженная, с таким выражением на лице, что, казалось, вот-вот заплачет.

— Вера? Что с тобой? Ты какая-то... У тебя что-то случилось? Да-да, я вижу. Что?

Вера, давний друг их дома, достала из сумочки незапечатанную телеграмму, и сердце его тяжело сжалось: кто еще? Кого не стало еще? Мелькнула мысль о престарелой тетке, которую он навещал зимой, она тяжело болела.

— Лукашев, — шепотом произнесла Вера.

Он поразился своему спокойствию. Брал телеграмму, разворачивал, читал короткий скорбный текст, а сам думал: «Что же это, почему я даже не вздрогнул, ничто не шевельнулось во мне, словно я каменный». И сказал холодно, отчужденно:

— Он убил себя.

— Нет! — выдохнула Вера. Она глядела на него широко открытыми глазами, пораженная его холодным тоном. — Я звонила... Сердечная недостаточность...

Шелков повторил:

— Он убивал себя все последние годы. — И отвернулся.

В глаза бросилась сухая, сраженная молнией сосна. Ему показалось, что сосна — белая на черном небе. Это видение длилось одну секунду, так бывает при вспышке молнии, а в следующую она словно бы потеряла свои резкие очертания, затуманилась и стала отодвигаться. И тогда он ощутил, как затяжелело в груди, как стеснилось дыхание. Он, наверно, сделал какое-то движение, потому что рука его оказалась вдруг на Верином плече, на него в упор глядели ее испуганные глаза. Он мотнул головой, сказал глухим, севшим голосом:

— Пойдем в избу. Что же мы тут...

В избе он как сел на стул перед окном, так и просидел все время, пока Вера хлопотала у плиты: наливала воду, ставила чайник, разводила огонь. В окно была видна заозерная даль. Там, за широким спокойным плесом, перед синей кромкой леса, угадывалась дорога, по которой бежали машины и волокли за собой желтова-

тые пыльные шлейфы. Сколько раз, сидя вот так перед окном и в летние солнечные, и в осенние ненастные дни, глядел он в эту даль, ожидая оттуда друга. И он приезжал, редко, но приезжал, и были те дни праздником для обоих. Теперь ждать некого — ни здесь, ни там. Пусто в доме, пусто на дороге. Ах, как пусто в душе!

Вера поставила перед ним чай, молча ждала, понимая, что у него начинается самое тяжелое: пришли думы. Сейчас он начнет вспоминать, и горе обрушится на него, раздавит, если оставить одного.

— Мы поедем завтра вместе.

Не поворачиваясь, он нашел ее руку, тихо, благодарно пожал.

...Петра Лукашева хоронили в дождливый холодный день. Лишь когда опустили крышку, выглянуло из-за туч солнце, уронило на гроб, на желтую песчаную землю прощальный луч. Виктор Иванович не пошел к гробу, не стал прощаться с другом. Он боялся прикоснуться, потому что еще живо было ощущение каменно-холодного лица жены, и он не в силах был вынести повторения. Подошел к убитой горем Симе, остановился, и она, угадав его в толпе, подняла заплаканное лицо, протянула руки. Он обнял ее за плечи, погладил вздрагивающую от рыданий голову. Они не произнесли ни слова. До боли закусил губу, сдерживая слезы, он чувствовал, как ударяет ему в спину глухой перестук комьев земли.

На поминки Виктор Иванович не остался. Он уехал сразу, в машине всю дорогу молчал, и Вера, сидевшая рядом, не осмеливалась заговорить.

А на земле торжествовала весна. Подул теплый ветер, очистил небо от туч, к вечеру выкатилась полная белая луна, и с озера поднялся густой туман, словно задымила сразу тысяча печных труб. Ночью оделись березы, зазеленели пожни — земля обновилась.

«...До чего же красива земля! Тихо стоят роскошно-зеленые березники — это царственно величавая, непревзойденная краса России. По опушке заозерного леса клубится черемуха, будто весенний разлив оставил на ее ветвях белую-белую пену. Густеют овсы, забывая темный цвет пашни. Распустились яблони.

По горизонту ходит гром. Весенний гром напоминает мне фронт. Таким же ярким маем, ровно тридцать пять лет назад, шли мы навстречу загадочному грому,

там бились, стонали, умирали люди, и мы шли в то пекло, совсем еще юные, не знавшие любви и нежности подруг. Теперь у меня все позади: и фронт, и любовь, и все же я чувствую, восхищаюсь первой майской грозой, роскошной землей, которая просит у неба дождя.

Величавые березники, белая черемуха, черные, словно чугуны в зеленом пару, старые ивы, яблони, готовые зацвести, молодые овсы — все, разъяв ладони-листья, молит дождя. И он пошел, ровный, крупный, обильный. Я не спешу под крышу, я стою под майским дождем, я хочу видеть и чувствовать, как пьет небесную влагу земля. Прихлынувшая радость горьким спазмом схватывает горло, и я шепчу: «Посмотри, посмотри же, какой безудержный пир справляет на земле все живое! Как омылось и засверкало все вокруг! Вот оно, торжество жизни, величественное и бессмертное!

Спасибо, земля! Сердцу, которое, казалось, уже ничто не в силах разбудить, ты возвращаешь любовь к жизни...»

Летом в одной из центральных газет я прочитал статью Шелкова, поразившую меня необычным для Виктора настроением грустного раздумья. Я позволил по сохранившемуся в старой записной книжке телефону в город нашей юности и от телефонисток узнал о горе Виктора.

Междугородный автобус остановился в четырех километрах от Лесовых Горок, я сошел, сел на обочине, разулся. Мне хотелось пройти эту дорогу медленно, вспоминая и раздумывая. К каждому из нас когда-нибудь приходит желание пройти кусочек дороги медленно и... босиком. Однажды, когда мы работали еще вместе, редактор послал нас троих — Шелкова, Лукашева и меня — в командировку с неожиданным заданием: пройти, как он сказал, по околице области и посмотреть, что там? В ту пору еще не у каждого председателя колхоза была машина, и мы две недели колесили по деревням на своих двоих. В начале пути Виктор сел на камень, разулся, перекинул ботинки через плечо и сказал: «Начнем, мужики, с воспоминаний». Скорый на каламбуры Лукашев выдал лозунг похода: «Голову в отставку — думаем пятками!» Шутка шуткой, а я частенько потом прибегал к такому способу воспоминаний. Вот и теперь...

Дорога была сухая, день солнечный, нежаркий, я шел не спеша, нагибался за спелой земляничкой и вспоминал... Когда же мы познакомились? Считали, что после войны, но однажды, перебирая в памяти своих учителей, нашли, что третий класс кончали чуть ли не за одной партой. Однако с той поры воспоминаний друг о друге не сохранилось. По возвращении с фронта Шелков, как и я, пошел в школу — учителей демобилизовывали в первую очередь, но скоро его взяли в райком комсомола, потом перевели в агитпроп. Был секретарем райкома по зоне МТС, председателем колхоза, редактором районной газеты, корреспондентом областной... Словом, типичный «районщик». Женился в первый год после армии. Нина была учительницей, а родом она из Лесовых Горок. Старый дом — это дом ее тетки. Родители умерли, когда Нине было восемь лет, жила она у сестер за няньку, потом тетка, овдовев, взяла ее к себе, помогла кончить училище. Сюда, в Лесовые Горки, Нина и увезла Виктора, когда он сильно заболел и не было надежды на врачей, осталось испробовать лечение тишиной и природой.

Это произошло уже после того, как мы расстались. Мне не приходилось бывать в Лесовых Горках, и теперь я с обостренным вниманием вглядывался в окружающее. Я убежден, что между характером человека и тем местом, где он рос, существует теснейшая связь, и, зная Нину, готов был искать и разгадывать, что и как воздействовало на душу ребенка, сделало ее столь чуткой и доброй?

Сказать, что Нина была добра, — почти ничего не сказать. Она не просто понимала людей, относилась к ним с участием, а умела вобрать в себя чужую жизнь, сделать как бы своей, ею пережитой, и тогда совершенно забывала о себе. Как ни говорите, а даже самый душевный человек, проявляя участие и внимание, не перестает помнить себя, а порой где-то на донышке души и полюбоваться собой: вот, дескать, какой я! Нина в этом отношении была человеком особенным, редкостно добрым, готовым к самопожертвованию.

В наше время почему-то перестали употреблять это слово — слишком значительное, что ли. Я не сторонник легкого употребления высоких слов. И все-таки не хочу заменять его другим, потому что убежден: если откажемся от больших слов в обыденной жизни, то пере-

станем замечать высокие чувства. А чувства ведь не исчезают, они всегда есть, и в мирные будни, и в трудные времена, и в лихие години — всегда, только проявляются они по-разному.

В самом деле, разве наша жизнь идет столь уж гладко, ровно, без горестей и бед, что отпала нужда в доброте, милосердии, в жертвенности, наконец? Не далее как месяц назад ездил я по поручению редакции в одну деревню. Группа жителей, написавших письмо в газету, стыдила взрослых детей, бросивших престарелую мать. Соседи приносят ей воду, рубят дрова, топят печь, когда та совсем сляжет, а дети и писем ей не шлют. Я опоздал, умерла старушка. Никто не знал, куда сообщить об этом детям: адресов не нашли. Хоронили деревней. И такие печальные лица были у одиноких стариков, что сердцу больно! Так вот, не подобные ли детки — а они, кстати, бывают и с образованием, и с положением — доказывают громче всех, что не стало нужды в высоких словах? Чего доброго, они и по поводу односельчан скажут: «А что такого соседи сделали? Подумаешь, ведро воды принесли! По-вашему, это надо возводить в степень добродетели?» Да, надо. Обязательно надо!

В сотнях, тысячах деревень, которые совсем недавно называли неперспективными, доживают свой век одинокие старушки — солдатские вдовы. Мы думали, что им спóсу не будет, думали, век будут лен теревить, коров доить, и за большими делами не приметили, как избы их обветшали, а сами они состарились. Вот и настала пора нам, и детям и обществу, взять заботу о них на свои плечи, вместили их грустные и печальные судьбы в свою душу. Доброты нашей ждут они, милосердия! Иных слов не подберу. Так что не ушло время благородных чувств и высоких слов. Нет и нет!

...Лес неожиданно расступился, дорога вознесла меня на крутое взгорье, и взору открылась неоглядная ширь. Холмы, кое-где поросшие рошицами, убегали вдаль, словно морская зыбь, по окоему сипел лес, замкнувший широкое холмистое ополе, и можно было представить, сколько поколений веками билось над тем, чтобы отвоевать у леса и сделать хлебородной эту скудную землю. Между холмами голубели озера, отражавшие чистое небо. Небосвод над долиной был необыкновенно высок. Первозданная тишина создавала впечатление, что люди, устав чего-то ждать,

покинули обжитое место. Скоро, однако, разглядел я за сосново-березовой порослью серые драночные крыши и направился туда.

Дорога спустилась с холма, обогнула по подошве другой, третий — и открылась улица, с колодезным журавлем, с кустами хилой сирени, с желтыми, зимней заготовки, березовыми поленищами. Избы стояли вразброс и очень редко. Я насчитал всего семь изб, но наметанным глазом определил, что когда-то их было тут не менее тридцати.

Так вот какие они, Лесовые Горки! Песенное имя, красивое место, тощая земля. Тут надо было работать не разгибаясь, чтобы жить сносно, но когда разгибались люди, отрывали взор от земли и видели этот синий-синий мир — леса в дымке, тихие озера, высокое небо, крутые холмы, — наверно, произносили восхищенно: «Какая благодать!» Тут жили хорошие люди, это несомненно.

Мне показали на небольшую, в три окошка, избу, стоящую в окружении молодых, еще не переросших крыши березок. Починенное на скорую руку крыльцо под тесовым козырьком, просевший от старости хлев, за тыном несколько грядок с зеленью, шматок клубники, недавно обрытая картошка, внизу, у самого озера, — баня, крытая камышом. Все было так ветхо, от всего веяло такой грустью, что я с сожалением подумал о друге: «Зачем ты удалился сюда? Тут можно доживать, но не жить...»

Дверь была заперта на клямку, вместо замка в пробой всунута скрученная трубкой бумага. Я раскатал трубку, прочитал: «Заходите, располагайтесь, скоро буду». Обратил внимание, что писано не сегодня, значит, не первый день ждет он кого-то...

Сколько я помню, у Шелковых никогда не запирались двери. О, это совсем не пустяк, закрыт ваш дом или открыт. Я имею в виду не тот замок, который навешивается на дверь, а тот, на который запирается душа. Заприте душу — и не надо никаких замков к дверям, все равно никто не войдет. Положа руку на сердце, скажите, у многих ли ваших знакомых, случись в том нужда, найдете вы кров и приют? Странная происходит с иными людьми метаморфоза, будто человек и жилище поменялись местами, и не жилище служит человеку, а он становится прислужкой собственной квартире, молится на нее, как на идола, не ждет родичей, не зовет друзей, а если и выустит в полированный, завешанный коврами рай, то обставит присутст-

вие ваше столькими оговорками — сюда не садись, этого не задень, того не трогай, — что, право, пропадет всякое желание оставаться в раю более минуты. О почлеге и не помышляйте: положить вас некуда, накрыть нечем, накормить тоже нечем — так трудно нынче принять гостя!.. А полки битком набиты, в гараже каменный подвал, под дачей хранилище. Нафаршированная, как мышинная нора, всякой всячиной, и купленной про запас, и патаस्कанный неведомо для чего, закатанной в банки, патисканной в мешки, унакованной от моли в пленку... Где уж тут отнереть душу, что и было в ней доброго — выжато, вытеснено, ушло, осталась одна болезненная страсть: стеречь свое, ни с кем не поделиться.

В силу особенности своей профессии я бывал в тысячах семей и могу сказать безошибочно, под которой крышей живет доброта, а под которой ею и не пахнет. Она, эта доброта, ходит в образе жены, хозяйки дома. Дом Шелковых сделала открытым для всех Нина. Мы приходили туда в любое время. Там нас обогревали, кормили, делились последним. Там мы отводили душу, изливали обиды, просили совета. И теперь вот, сидя на крыльце и читая: «Заходите, располагайтесь...» — я, опять согретый душевно, размышляю о том, что не так уж и мало на нашей земле доброты, только не всегда мы ее замечаем, ведь это так естественно: войти в дом, где тебе рады, отогреться душой, сказать спасибо и продолжать свой путь. Право же, не стоит отчаиваться, никогда не будет на Руси такого, чтобы страждущий повсюду натыкался на запертые двери и глухие души.

Через небольшие сени я прошел в избу, и странное чувство вдруг овладело мною: сделалось отчего-то неловко. Я огляделся. Печь, кровать, у окна стол с бумагами, в простенках портреты Нины и Петра. Не они ли вызвали чувство неловкости? Нет, что-то другое мешало войти в дом, как входил прежде, с легкостью и бездумно. Стены... Нынче избы в деревнях непременно обивают и оклеивают на городской манер, а тут — голые бревна в трещинах. Трещины и пазы, проконопаченные паклей, были темнее бревен, почти черные от вьезшейся за долгие годы копоти, и походили на черный узор по синевато-серому с ореховым оттенком полю. Стены мыты, вот в чем дело. Мыты с песком и мылом, долго, тщательно, как умеют мыть только деревенские женщины. Это делала она. Хотела, чтобы

и дерево, ч и с т о е дерево лечило его. Отмыт был и потолок, и пол, и некрашенные подоконники, и от всего этого старого, в трещинах и червоточинах, но словно бы обновленного дерева воздух в избе был чуть-чуть синеватым, с едва уловимым запахом смолы. Я понял причину охватившего меня чувства: не с тем настроением вошел в избу, легкомысленно. Вошел как во всякую другую избу. В этой жила доброта человека, которого уже не было...

Виктор возвратился перед закатом. Он ходил в центральное село, на заседание правления колхоза. Что там было, рассказывать не стал, накормил меня крошкой, сам выпил только чаю, и мы пошли прогуляться берегом озера. Закатное небо медленно остывало, от воды тянуло прохладой. К вечеру сильнее запахло цветущие травы и разогретая дневным солнцем сосновая хвоя. В низинах зачинался туман, словно кто-то невидимый разбрасывал по лугу легкие кисейные платочки.

Я спросил про Лукашева, как э т о с ним случилось, ведь он был самый молодой из нас и на здоровье не жаловался. Виктор пожал плечами: или не хотел вспоминать, или в мыслях было что-то другое. Потом заговорил, как мне показалось, издали:

— Видишь вон ту рощу, она после войны выросла, нашу некому было засеять, засеяли ее старые березы. Высокие, тонкие, ровные, как струны, стволы. Мы говорим: березы г о н к и е. Нашли отличие от тех, что на опушке, и дали определение. На опушке росли просторно, а срединные панерегонки рвались к солнцу... Впрочем, к чему так многословно, я хотел сказать, что человек познается в сравнении. Или... когда уходит...

Виктор не договорил и замолчал. Видимо, в одиночестве он не раз пытался постичь н е ч т о, бывшее между ним и Лукашевым, может, даже разделившее их, и я решил, что мне сейчас не следует торопиться с вопросами.

Годы и болезнь наложили на Шелкова свою печать: припустились плечи, слегка сутулитесь, медлительнее и словно бы осторожнее стал в движениях, сильно поседел, а в глазах — неуходящая дума. Я моложе его на два года, значит, ему... три зимы до «персональной книжки». Впрочем, книжку ему, вероятно, уже дали: ранения, болезнь... Как досадна собственная невнимательность! Что мне мешало приезжать сюда? Дела? Так их все равно не переделашь! Нет, не дела. Мешало... Теперь можно признать-

ся. Не ему — себе. А можно и ему: поймет. Ее многие любили. Она — только его. Я начинаю понимать, что мы, их друзья, любили чужую любовь. Тянемся же мы к чужому очагу, он нас согревает. Так и тут. Но, согласитесь, это непросто — любить чужую любовь, поэтому и расстояния, разделяющие нас, воспринимаем, если хотите, с облегчением. Подозреваю, что и Петр Лукашев не был среди нас исключением...

— В последнюю встречу — он приезжал сюда каждый год — мы сильно поспорили. Можно сказать, поссорились. Разошлись во взглядах. Примирение едва ли было возможно. Нина не слышала нас, мы спорили в лодке, на рыбалке, дошли до оскорблений, вежливых, конечно, но это не меняет сути. Утаить что-либо от нее было невозможно, ты это знаешь, она заметила, что между нами пробежала кошка, и со свойственной ей тактичностью попыталась предотвратить разрыв. Она поехала к Лукашевым... Потом я понял, и она подтвердила, что не столько наши хмурые лица обеспокоили ее — мы ведь и до этого не во всем сходились, — а глаза Петра. В его глазах были тоска и загнанность. Взгляд иногда останавливался, делался пугающе пустым, как будто глаза отключались от мысли, в них не было ничего, понимаешь, и и ч е г о, кроме безысходной загнанности. В такие мгновения казалось, что внутри у него наглухо заперт жуткий крик.

Петр был на машине, у него свои «Жигули». Нина попросила отпустить ее на два-три дня проведать Симу. Он и обратно Нину привез и не стал дожидаться, когда я приеду с озера, так мы больше и не виделись... Нет, вру, приезжал он на похороны Нины, но я плохо помню, кто там был и что было. А через полгода... телеграмма. Сегодня ровно два месяца...

Закат погас, осталась узкая розовая полоска над лесом, озеро потемнело, прорезались звезды, и мы повернули к дому. В избе Виктор не стал включать верхний свет, зажег настольную лампу и поставил на плитку чайник. Делал все молча — привык в одиночестве к молчанию, а меня оно тяготило, и я спросил, куда ушел Лукашев из газеты, на какую работу.

— В торговлю. Не за прилавок, конечно, — руководить. Направлять в русло. — По интонации я почувствовал, что Виктор усмехнулся. — Подожди, а ты что же — все эти годы так и не приезжал к нему?

Я ответил, что не приезжал, и он с осуждением проговорил:

— Плохо. Семь лет не видеться — это плохо.

— Куда уж хуже, — согласился я. — Не воротишь.

Он заварил свежего чая, налил в стаканы, отодвинув бумаги. Мебели было скромно: табуретка, жесткий деревенской работы диван, два расшатанных венских стула. Он сел на диван, я к столу, так, чтобы видеть его лицо: никак не мог свыкнуться с его постоянной хмуростью.

— Ты разбогател? Машина, дача, хрусталь? — спросил он с какой-то странной, словно вычеркивающей меня из списка, интонацией.

Я отрицательно покачал головой.

— Что так? Деньги? Убеждения?

— Больше — второе. Помнишь наше, соборовское: «Все мое на мне»?

— На том и сошлись. Но принципы — такая штука... В тот день, в лодке, Петр вдруг спрашивает, не мучает ли меня совесть перед Ниной. И грехов за собой не числил, попросил объяснить. «Эх, Виктор!» — произнес он с таким выражением... Я не могу тебе передать, как у меня все внутри сжалось, сжалось от обиды на судьбу. Я ли не хотел сделать ее жизнь спокойной и обеспеченной! «Зачем же ты укоряешь тем, чем нельзя укорять человека? — спросил я. — Поступиться принципами?» — «Ты закоснел в так называемых принципах. Люди давно от них избавились. Оглядишься, не слепой же, не можешь не видеть, что вокруг происходит. Надо уметь жить — вот правило, по которому сегодня живут». Я напомнил ему наши совместные писания, он отмахнулся: «Прошлое». — «И что же, ты стыдишься т о г о, что было?» — «Не стыжусь, оно просто прошедшее. Как мода на брюки: были узкие — пошли широкие. Почему я должен сегодня думать так, как думал пятнадцать лет назад? В конце концов, вещи создаются для того, чтобы ими пользоваться. Нина ходит в старом пальто... Наконец, эта изба... Извини, я начинаю подозревать, что ты не понимаешь, к т о с тобой рядом». Не надо было ему так говорить, я не сдержался... Не знаю, что толкнуло его начать этот разговор. Контраст? Мы были с Ниной у них. Зимой, когда ездили к врачам. Если ты видел современные квартиры, о которых говорят «полная чаша», так вот такая «чаша» была у Лукашевых. После нее эта древняя изба могла, конечно, ударить по нервам. Но скорее всего, не это.

Думаю, он искал опоры. Оправдания. Его угнетал другой контраст, внутренний. Он словно бы хотел сказать: «Я не устоял перед соблазнами, почему ты должен устоять?» Не зря так оночилось на принципы. И еще думаю, не во мне он искал оправдания, не из-под меня хотел выбить камень. Был случай, когда я готов был сдаться, поступиться честью. В трудное положение мы попали. После больницы, в которых я провалялся полгода, — это было уже после твоего отъезда, — мы остались без денег, работать я не мог, Инниной пенсии — она только оформилась на пенсию — хватало на хлеб да на сахар. Она привезла меня сюда, в эту деревню. Кормились с огорода, с трех соток. Я шел старухам корзины — рассчитывался за молоко. Приехал Лукашев. Посадил меня в машину, поехали в лес. «Хочу тебе помочь. Только не руби сплеча, молчи до вечера. Молчи и думай. Вечером скажешь. Можно заработать несколько тысяч. Покупай машину — организую перепродажу. Знаю, денег нет. Ссужаю полную сумму, процентов не возьму. Отбрось условности, видишь, я к тебе на третьей приезжаю...» Короче говоря, я должен был спекулировать. Один раз в жизни, чтобы выйти из пикового положения. Честно говоря, я бы не остановился. Ради нее. Чтобы не ломала голову над конейкой, не зная, куда ее повернуть. И — вещи, конечно. Она любила все красивое. В молодости не мог дать, так хоть теперь порадоую... Я сказал ей, что есть такая возможность. Она ответила: «Не надо, Витя. Понимаю тебя, но не делай этого. Между нами будет уже что-то не то. Ты будешь казнить и когда-нибудь не выдержишь, упрекнешь. А я разве могу радоваться вещи, купленной нечестно? Нет, не надо». Лукашев понял, почему я отказался, сказал: «Она у тебя святая. Дураку досталась». Тогда это прозвучало вроде в шутку... Да, мы такие, какими нас делают жены. Петра изменила Сима. Что произошло с ней, приходится удивляться. Скромная, простая была женщина. Нетребовательная. Душевная. Помнишь, бидончик молока, бывало, принесет да килограмм печенья — и весь ужин на семью... Скажи, неужели бедность действительно есть родительница всех добродетелей? Нет? Умозрительно оно, конечно, так, согласен, а в жизни... Не выдерживаем мы, брат, испытания достатком. Не умеем остановить себя. Страшная сила заключена в презренном металле, убивает сопротивляемость души. Ты не думал над причинами? У меня

из головы не выходит. Прихожу к выводу, что мы, дети мужиков, несем в себе неутоленную жажду поколений к мало-мальски сносной жизни. Мы, что называется, д о р в а л и с ь. Не можем насытиться. И побочку всякую порядочность. Это и приводит к душевному разладу. Нельзя безнаказанно убивать в себе порядочность... Нина вернулась от Лукашевых расстроенная. «Витя, они же пустые! — сказала она с ужасом. — У Петра, оказывается, запой. Сима скрывает от людей, а мне призналась: «Он конченный, ему ничто не поможет». Показала свой гардероб: «Вот, смотри, три шубы, платья, костюмы, драгоценности — все импортное, в магазинах такого не купишь, а надеть не могу — некуда. В театр не ходим, в гости не ходим, просто так надеть, чтобы выглядеть, стыдно, в глаза бросается». Что я могла сказать? Сама же хвастала мне: «Чего ни захочу, все достанет. Сказала: хочу японские подушки, — достал. Хочу французское белье — пожалуйста». Довела она его. У него глаза убитые. Он все понимает, а изменить не может, уходит от самого себя в вино. Как помочь, ума не приложу. Заговорила с ним в машине, когда назад ехали, — прервал: мол, не надо, Нина, не трави душу. Ты бы попробовал с ним как-нибудь по-своему, а?» Возможно, я и поехал бы, попытался бы что-то предпринять, но слишком горек был его упрек, будто я не понимаю, к о г о судьба послала мне в спутники. А потом... Та же судьба и отняла ее у меня. Сразу. Это было как обвал...

Деревенская тишина с непривычки оглушала, я долго не мог заснуть. Виктор спал тяжело, на высоких подушках, изредка постанывал. Я ворошил растревоженную память, искал в ней ответа все на тот же неотвязный вопрос: что дает человеку силу держаться на нравственном якоре в бурном житейском море? Может быть, чистота чувств? Вот две любви: Симы и Нины. Кредо одной: «Хочу — достань». Кредо второй: «Не переступи. Между нами будет уже что-то не то». Нина умела сделать любовь чистой, не давала ей замутиться, словно тончайшей чуткости прибор действовал в ней, неусынно оценивая и его и ее поступки, отсеивая все, что не сегодня, не завтра — через годы может повредить чистоте отношений. Это удивительнейшее свойство женской души — угадывая дальние последствия,

отказаться от близких удовольствий во имя сохранения высоких и чистых чувств. Нина была наделена им в полной мере.

Любовь женщины держит нас на нравственной высоте, это так. Но где она сама берет силу? Какие ключи питают ее? Как возникает та душевная гармония, которая делает любовь женщины столь чуткой к малейшим отклонениям? Я не нахожу другого ответа, кроме одного: это многовековой нравственный опыт народа, спрессованный в одном сердце. Женском. Материнском. В сердце-семени, которое, когда приходит его время, прорастает, расцветает и, уже не увидая до конца дней, множится, множится, множится в муже, в детях, внуках, друзьях — в каждом, кто соприкасается с ним.

И тем оно бессмертно, такое сердце.

Вот два портрета на стене, я не вижу их в темноте, но они у меня перед глазами. Два ушедших в небытие человека, которых я знал. Жить можно так, как прожила Нина, и так, как прожил Петр. И живут. Одни и другие. Живут в вечном споре, в вечной борьбе с переменным успехом. Но ведь и сам Лукашев, насколько можно судить по рассказу Виктора, внутренне не переродился, а только отступил (и отступление кончилось трагедией), где-то в душе оставаясь прежним, иначе не тянулся бы к Шелковым, не искал бы в них опоры.

Странное возникает ощущение, когда сталкиваешься с людьми, поддававшимися поветрию обогащения. Все их поведение отдает какой-то в о р о в а т о с т ь ю, они ловчат, что-то понемножку тащат, от чего-то урывают и все время как бы оглядываются, постоянно настороже, оттого что не потеряли еще представлений о порядочности. Понимая, что всему безнравственному приходит конец, и будучи все же не в силах противостоять мещанскому поветрию, они спешат воспользоваться, кто чем может. Видимо, к их числу относился и наш друг Лукашев.

В такие-то времена и загораются яркими звездами и светятся кристально чистым светом люди, подобные Нине. К ним тянутся, в них ищут опоры. Они — наша совесть.

Жизнь — непрерывная цепь открытий. Что-то постигаешь сам, вроде того, что железо на морозе — это холодный огонь, что-то узнаешь из книг, а главному — как жить? — учишься у людей.

Но странно, именно чужой жизни мы менее всего склонны верить, меньше всего хотим брать у нее уроки. Больше полагаемся на себя. Молодость самонадеянна. Только вот что оказывается со временем: как ни отмахивались мы в юности от чужого опыта, в возрасте вдруг замечаем, что он осел в нас и мы ему следуем.

Первую половину жизни я отдал учительской работе, вторую — журналистике. Профессии эти, на первый взгляд такие разные, имеют много общего, и прежде всего то, что и педагог и журналист одинаково склонны к поучениям. Усвоив правила, тот и другой начинают учить, как вести себя, как делать дело и вообще как жить. Педагогу такое, как говорится, на роду написано, это его обязанность, общественная функция. Но журналисту... Честно говоря, я с запозданием понял, что журналисту менторство противопоказано, иначе он теряет главное — способность и следовать жизни, и принимать человеческие поступки. Множество раз ездил я в командировки от редакций, и почти всегда с заданиями — либо «вознести», либо «разнести». Сходство газеты с учительским столиком поразительно. Между тем обе эти профессии, как никакие иные, требуют неустанной исследовательской работы ума, ибо имеют дело с живым человеческим материалом, вечно новым, неповторимым и загадочным.

Простую истину — прежде чем оправдать или осудить поступок, пойми его — помогли мне усвоить председатели колхозов, люди совершенно особой должности, неповторимой, единственной, если хотите, исторически. Они не просто хозяйственники, как принято говорить, не только организаторы и воспитатели, это люди особого сплава многих и многих качеств. Их отобрал и выдвинул из своей среды народ. Они — мужики, однодеревенцы, люди от земли, в которой все их корни. И в этой двойной, если можно так сказать, зависимости — от земли и земляков, — в корневом их родстве и кроется исток всех сложностей их натур. Ими повелевает земля, они подчинены ей, служат ей,





не слено — с полным сознанием своей силы и власти, но не переступая той незримой черты, за которой власть над землей превращается в своеволие. И ими же повелевают люди, которые захотели жить по-новому и пошли к этой новой, историей не знаемой жизни, но в которых и старой еще так много, что она кружит их, сбивает, и несут мужики в себе непрестанное борение двух сил — прошлого и будущего. И опять перед председателем незримая черта, которую нельзя переступить, ибо и за ней та же — своеволие, а значит, и неудача.

Не стану утверждать, что сами они с достаточной ясностью сознают эту вот глубинную суть своей должности, но что действия их целиком продиктованы двумя силами — землей и людьми, направлены на служение им, это они безусловно сознают. Не говорю — все, но — лучшие из них, склонные к самоанализу и размышлениям. Сергей Владимирович Морозов, о котором собираюсь рассказать, любил повторять: «Землю не обманешь». Все его конфликты с начальством происходили именно по этой причине: он лучше других знал, чего хочет земля. И в основе конфликтов с земляками — их тоже было немало — лежало опять-таки его зоркое понимание, что надо человеку.

Познакомились мы так. Я приехал в Сытьково. Некогда большое торговое село, лежащее на тракте Ржев — Осташков, на крутом берегу Волги, в войну было начисто сожжено и в прежних размерах уже не возродилось. Были отстроены сельсовет, школа, почта, магазин, ветеринарный пункт, а из жилья — не более десятка изб-пятистенков. Объяснялось это тем, что земли вокруг принадлежали трем колхозам, центры которых находились в удалении от села, и заселять его не было надобности. Но когда-то Сытьково было центром Гриминской волости, и в 1918 году здесь на сходке в волостном Совете крестьяне написали письмо Ленину. Приветствуя аграрную политику Всероссийского съезда земотделов, гриминские мужики подтверждали, что «единственным выходом из тяжелого положения и перехода к коммунистическим началам есть общественная или артельная обработка земли».

В поисках участников того схода я объездил все деревни и под вечер встретился в сельсовете с коренастым мужчиной в сапогах и в поношенной фуфайке. Меня поразило странное сочетание пристальности и какой-то грустной

задумчивости в его взгляде. Было похоже, что он внимательно, с напряжением вглядывается во что-то и недоумевает и сожалеет одновременно. Все остальное в его облике мало заметно: замкнутое, несколько угрюмоватое лицо, редкие седые волосы, тихий, без интонаций голос, коренастая мешковатая фигура — обыкновенный крестьянин, привыкший делать свое дело без позы и внешних эффектов, нимало не заботящийся о том, как он выглядит или что о нем скажут. Таково было первое впечатление от председателя колхоза «Красный маяк» Сергея Владимировича Морозова.

А надо сказать, что встретились мы как раз в тот год, когда «кукурузная лихорадка» достигла своего апогея и когда, о чем бы собеседники ни заговорили, они неизменно задавали друг другу вопрос: «А что ты думаешь по этому поводу?» И в зависимости от сказанного либо сразу достигали взаимопонимания, либо теряли интерес друг к другу. В тот раз в беседе я не касался кукурузы, но мою поездку по деревням Сергей Владимирович принял, вероятно, за инспекционную и первым делом спросил:

— Ну, как писать будешь? — Он сделал ударение на «как».

Я не понял, что он имеет в виду.

— Королеву. — В уголках его губ мелькнула чуть приметная усмешка.

— Никак не буду.

Рыжеватая бровь дернулась кверху, маленькие бледно-синие глаза остановились на мне с любопытством.

— Это как же понять: не хочешь или не можешь? Был тут у нас на днях один... Меня как раз выговором благословили. Вторым. Думаю: разносить приехал. Здорово это у вас получается, хлестко. Поездили мы с ним, поглядел он на поля, спрашиваю: «Ну, как писать станешь?» Говорит: «И так могу, и этак могу. Как редактор скажет...»

Первым моим желанием было заступиться за честь журналистского цеха, но... председатель был прав: «флюгеров» в нашей среде немало. Так и сказал Сергею Владимировичу. Он хмыкнул и переменял разговор.

Потом наши встречи стали частыми и продолжались ровно десять лет. Отношения сложились не скажу дружеские — до его сокровенных дум едва ли кто добирался, он был не из тех, у кого душа параспанку, — но достаточно откровенные и доверительные. Вспоминаю сейчас и думаю:

«А ведь о чем бы ни писал я все эти годы, бессознательно ориентировался на Сергея Владимировича». Есть у нашего брата газетчика такой внутренний сторож, который просыпается, когда беремся за перо, и не дает покривить душой. Как говорится, писать надо так, чтобы не было стыдно перед героем. Но в моем случае несколько иное: Сергей Владимирович стал для меня тем самым читателем-судьей, которого не видишь, не слышишь, но стыда перед которым боишься пуще огня. Словом, мне как журналисту все время хотелось иметь его одобрение. И если уж говорить до конца, надо признать: истинно повезло в жизни тому, кто свои поступки и дела контролировал совестью человека, избранного в собственные судьи.

Я мучаюсь, выбирая слова, которыми надо бы рассказать о Морозове. И не знаю, какие отобрать факты. Меня тянет не к описанию, а к размышлению. Совсем не случайно допытывался он у заезжих корреспондентов, как будут они писать о кукурузе. Да и подразумевалась, конечно, не сама культура как таковая, а то, что крылось за ней и от чего он, истинный земледелец, страдал более всего. «Нельзя полю повелеть: роди то, роди это, на поле надо попотеть, — говаривал он. — Попотеть, поняичить, ублажить, а тогда и в амбар положить». Морозов внитал и всю жизнь нес в себе правила, приемы, навыки обращения с землей, отобранные поколениями, составляющие систему, из которой нельзя безущербно выбросить или заменить в ней ни одно звеношко. И он ревностно соблюдал эти правила, сопротивляясь насилию над землей. Драматичность таких натур, как Морозов, — их называют закоренелыми — в том, что они, понимая неизбежность нововведений — прогресса ведь не остановишь, — видят отдаленные минусы этих нововведений, остро и болезненно переживают погоню за сегодняшними плюсами.

Морозов в районе был притчей во языцех. Лучшего примера «консерватизма» не знали. Он никак не хотел отказываться от содержания коров на навозе и самым последним, уже в семидесятых годах, настлал на фермах полы. Он дольше других продавал лен не трестой, а волокном — мяли и трепали стебли всю зиму в колхозе. Он долго держался за трудодень и очень неохотно, в последнюю очередь, перешел на денежную оплату. Упорно сопротивлялся применению льнокомбайнов с очесом головок сразу на поле...

Областное начальство, проезжая в район и в который раз слыша об упрямстве Морозова, раздражалось: «Сколько можно терпеть этого чудака? Вся рота не в ногу, один Морозов в ногу. Смешно, понимаете ли». «Районщики» пожимали плечами: «Да ведь как не терпеть, если урожай, надои, доходность, прибыльность — высшие в районе! Одиннадцать месяцев ругаем, в двенадцатом хвалим». Были у Морозова среди начальства, конечно, и защитники, но, так сказать, тихоголосые. Поддерживали втихомолку, а чтобы громко, с трибуны — ни-ни. Понятно, что и сам он отмалчивался, в драку не лез и цифрами, когда наступало время итогов, не потрясал, считая, что красноречивее пуда да рубля ничего нет.

О этот мужицкий консерватизм! Как все перепуталось! Прогресс, оставляющий пиву голодной, — надо ли воздавать ему хвалу? Или прогресс тут ни при чем? Морозов содержал скотину на подстилке. Был навоз — был хлеб, менее ста пятидесяти пудов с гектара в колхозе не брали. Скотина — навоз — хлеб — корма — скотина — извечный круг, золотое кольцо. Пол под коровой, это первый вестник культуры и прогресса на ферме, выбил главное звено золотого кольца — навоз. И пошли, и пошли чередой, раз от разу становясь все шикарней, все краше безнавозные фермы. Химия не возмещает со всей полнотой потери поля. По делу ли сопротивлялся Морозов? Да, конечно, он думал о земле, предвидел последствия безнавозья. Но в том-то и дело, что поля на фермах вовсе не исключают из традиционного оборота навоз. Сейчас, когда спохватились, и на полях научились «делать органику». Суть конфликта не технологического свойства.

Прогресс, заседающий на Морозова, облечен властью районного начальства, он директивен. Морозову же нечем воздействовать на директиву, потребовать, скажем, создания такой технологии, которая бы сохраняла в неприкосновенности золотое кольцо. Так что вовсе не прогрессу сопротивлялся Морозов — он ратовал за прогресс, но не нарушающий, а увеличивающий силу земли. «Поле нам диктует, а не мы полю», — опять и опять повторял он, обосновывая свое упрямство.

А как любовно слушал он поле! Рано поутру, когда деревня еще спала, выходил из дому за околицу. Отойдя на приличное расстояние и оглядевшись — не увидят ли со стороны, — он разувался и босиком шагал через сизые от

росы клевера, забирался в рожь, смотрел, щупал, вдыхал — всеми чувствами впитывал в себя земную благодать, чему-то радовался, чем-то огорчался и выпытывал, и выпытывал у земли, чем она страдает, чего ей недодали, в чем обошли, обидели. И уж какие думы обуревали его в это время, никто не знает. Но сдается мне, что именно такие безмолвные разговоры с полем укрепляли его дух и убежденность в своей правоте.

В районе знали о «чудачествах» Морозова. Пересказывали в кабинетах, как ходит он по утрам босиком, как грозился вычестить из зарплаты колхозницы стоимость потерянного с воза льняного снопа, как снял с машины за ослушание своего сына — шофера, как вместе с бабами отправляется по весне на поля с лопатой, чтобы спустить с озимей талые воды... Отчего так? Отчего кабинетный народ, управляющий сельским хозяйством, смеялся над тем, что делал и с т и н н ы й х о з я и н? Может быть, оттого, что районные управляющие масштабнее мыслили и, как проводники прогресса, относили все это к мелочам? В самом деле, что такое потерянный с воза сноп льна или спущенная с сугристого поля снеговая вода по сравнению с полной механизацией полеводческого цеха? Пустячки. Чудачества. Рудимент мужицкого кругозора. И никому не приходило в голову, что за пустячками стоит отношение человека к земле, что и пустячки, и масштабные проблемы в одинаковой мере формируют психологию. Извечная загадка: за большим не видеть малого. За лесом — деревья, за народом — человека, за армадами комбайнов и тракторов — канавки для спуска воды, за тонной волокна с гектара — потерянного снопа. Не потому ли механизация ферм «уничтожила» навоз, комбайновая уборка льна привела к провалам в семеноводстве — сеем чем попало, колоссальные молочные фабрики обернулись неслыханной яловостью? Прогресс не должен убивать заботливого, истинно хозяйского отношения к делу, иначе он не прогресс, ибо дать желудку, но отнять у души — никогда такой цели человек не ставил и не поставит. Прогресс должен базироваться на высоком духовном содержании и стремиться к его нарастанию. В общем-то оно так и есть. Но в частности, в существенных частностих, бывает, увы, не так. Понимал ли это с достаточной ясностью Морозов? Понимал. Оттого и снаялись в его взгляде пристальность и грустная задумчивость.

Для районных руководителей полной загадкой была

«капризность» Морозова. Я слышал о ней много и однажды стал очевидцем такого случая. С секретарем райкома партии мы приехали в колхоз на отчетно-выборное собрание. Сергей Владимирович сидел в своем кабинетике — он никогда не выходил навстречу начальству, был начисто лишен подобострастия — и на вопрос секретаря, все ли готово, ответил: «Да вроде все». Был он, как всегда, невозмутимо спокоен, сдержан в разговоре, и казалось, ничто не предвещает осложнений.

Надо сказать, что в те годы выборные колхозные собрания частенько преподносили неожиданности. Как ни «обкатывались» предварительно кандидатуры правленцев, бригадиров, председателей, в ходе собрания обязательно возникали то сучок, то задоринка. Случалось, и председателю давали отвод. В «Красном маяке», по мнению секретаря райкома, ничего такого на этот раз не предвиделось.

Мела легкая метель. К правлению подкатывали подводы, машины, из дальних деревень сехали на тракторах. Народу в коридорах прибавлялось, слышались говор, шутки, смех. Я обратил внимание, что Сергей Владимирович, разговаривая с нами, все время держится как бы настороже: очевидно, старается поговору угадать настрой людей. Мужики были в легком подпитии, это уж как заведено, пока собираются деревней, непременно к кому-нибудь забегут на бражку, примут для сугреву, а там уж, как откроется собрание, начнут соображать на двоих, на троих и беспрестанно бегать в лавку, а если лавка закрыта, то к какой-нибудь запасливой бабке, и к моменту дебатов у мужичков разгорается критический пыл. Морозов, в жизни не бравший в рот вина, очень не любил пьяных, и не раз бывало так, что он клал на стол печать и говорил: «Ищите себе другого». Уломать его тогда пойти на попятную стоило немалого труда.

На этот раз гром грянул за последней точкой в докладе. Доложив все, что было написано, Морозов отодвинул бумаги, поднял голову, как-то по-особому оглядел зал и вдруг бухнул: «Обязанности председателя слагаю, выбирайте другого». Сначала показалось, что так и надо, так и должно быть: отчитался — и ты уже не председатель до нового голосования. Но он добавил: «Дальше руководить отказываюсь». И тогда собрание взорвалось. Нельзя было что-либо разобрать в сплошном крике. Председательствующий объявил перерыв. Секретарь райкома за кулисами «мочалил»

Морозова: «Что за анархия! Почему на партбюро не сделал самоотвода? Теперь что же, с бухты-барухты председателя искать? Где его возьмешь? В какое положение ты нас поставил?»

Сорвав злость, секретарь остыл и начал уговаривать «упрямого молчуна», допытываясь о причине столь неожиданного заявления. Перерыв затягивался, так и открыли прения, не уломав Морозова. На своем решении он стоял твердо. Мужики в зале враз отрезвели, переговаривались: «На этот раз, кажется, без шуток. Разозлился старик». Отчет уже мало кого интересовал, прения превратились в уговоры. Где-то к концу дня, когда на улице засинели сумерки и ораторы исчерпали все доводы, а голосистые защитники с мест охрипли от крика, Морозов сдался. Он поставил условие: «Давайте слово, что бросите пить». Собрание хуже новгородского веча заорало: «Даем!», захлопало в ладоши, застучало ногами — мир с «князем» был установлен. Сообразительная продавщица побежала открывать лавку, по домам разъезжались с песнями.

Морозов, соблюдая этикет, пригласил нас к себе отужинать. Жил он в деревне Суково, в километре от центра, в очень маленькой избенке с узкими сенями, поставленной после войны. Это был единственный в районе председатель, у которого изба выглядела хуже, чем у многих колхозников. Правда, он поставил хоромы двум своим сыновьям, механизаторам, которых перед тем властью родителя и председателя не отпустил из колхоза. Он был крайне нетребователен в личных запросах. Зато требователен к людям. Этим, как я потом понял, и объяснялись его «бунты», к которым он время от времени прибегал как к средству воздействия.

Людей в колхозе хватало. В бесхлебную пору, когда народ повалил из деревень, Морозов давал на трудодни хлеб, кое-какие деньги, помогал строиться, не мешал косить сено для коров и просто-напросто не подписывал справок на выезд. Но время бежало, затухало в мужике чувство неразрывности с землей, пошли деньги, недостаток, много стали в его колхозе пить, а главное, что особенно пугало Морозова, родилась в человеке уверенность, будто прожить он может и без земли, точнее — независимо от того, что родит поле. Не мог он уяснить, как это так: работающий на земле охладевает к ней? Ведь чем больше будет родить земля, тем заботливее должен относиться к ней человек,

тем строже и взыскательнее смотреть на себя. Знал это Морозов, знали и понимали сами люди, но вот же не выходит — не получилось так, как надо. Почему? В чем причина? Недоумевал Морозов, почками ворочался без сна и, не в силах найти ответа, ополчался на мужиков, предъявлял им ультиматум: не станете лучше, ищите себе другого.

Борьба кончилась не в его пользу. Сдало сердце, не выдержало такой нагрузки. Он долго болел, но, едва встав на ноги, потребовал у него строительную бригаду. Сказал, что, будучи председателем, не успел поставить ребятам школу, а теперь видит: старая прохудилась, негоже ребятникам в такую одить, надо срубить новую. И срубил. Оставалось навести крышу, в тот день клали последний, подстроильный венец. Плотники несли по лесам бревно, передний вдруг оступился, все сбросили тяжесть с плеч, отстранились — бревно покатилось, угрожая смять работавших внизу, и тогда Морозов кинулся под бревно. Он сберег других, но самому ему сильно помяло ноги. Опять лежал в постели, однако школу все-таки достроил.

Последний раз я приезжал к Морозову незадолго до его смерти. Стоял солнечный осенний день, в палисадниках горели клены и березы, стела тонкая аутина. Он вышел на улицу, сел на скамейку. «Сено плохо сложили. Был на лугу — промокло. Разучились стога класть». Ни о чем другом он не думал — только о земле, о работе на земле. А колхоз адал на его глазах. За то время, что он болел, сменилось уже два председателя. Поначалу каждый ходил к нему советоваться, потом, видимо, это м надоедало, и они начинали хозяйствовать по-своему — и не получалось.

«Красный маяк» перестал быть передовым. Теперь уже третий председатель руководит м, а выправить не может. На моих глазах завалилось не одно крепкое хозяйство. По два-три есятка ет стояли во главе колхозов мужики, подобные Морозову, ушли — и начался закат. Раздумывая над причинами того, я прихожу к выводу, что преемники не сознают главного: и в земле, и в людях Морозовы оставили себя. И земля, и люди в один день не расстаются с тем, кто знал и понимал их, кто был их хозяином. Я вот тоже жду его, Сергея Владимировича, одобрения и, берясь за перо, не могу отделаться от мысли, что он вот-вот спросит: «Ну, как к писать будешь?» Он оставил себя и во мне, и я буду мерить других его меркой.

В памяти живут люди... Сколько их! Друзей, знакомых, единопорды встреченных. Простых и сложных, понятных и непонятных... Добрых и щедрых душою людей.

На своей земле мне знакомы все вокзалы, паромы, полустанки, дороги. Я беру билет и отправляюсь в путь. Желание поехать возникает внезапно. Что-то происходит с памятью: толчок — и неудержимо тянет то одного проведать, то другого... А теперь все чаще и чаще — побродить дорогами, где встречались... Оглянуться, вспомнить, сказать себе: «Я знал его...»

Ветер гонит серые мохнатые тучи. Время от времени тучи сеют то мелкий нудный дождь, то мокрую снежную крупу. На земле слякотно и беспросветно. День без восхода и заката, нарождается медленно, тягуче и так же не приметно, безрадостно исчезает, как будто и на землю приходил без цели, без желания.

В такой день ничего не хочется делать и несколько не жаль, что он канет бесследно.

Но вот мой взгляд упал на клочок обыкновенной некошенной пожни, и что-то далекое смутно шевельнулось в памяти. Никак не могу вспомнить, что именно связывает меня с этой согнувшейся ножухлой травой, присыпанной белым крошечком. Но ощущение радостной связи с прошлым так сильно, что возникает вдруг резкое, как боль, сожаление: а ведь того не вернуть и не пережить вновь.

Не понимаю, почему мне жалко дня ушедшего, давным-давно затерявшегося в долгой череде лет. Напрягаю память — и вот медленно, как из тумана, проступает, близится, становится узнаваемым лицо. Тем далеким непастным днем была встреча. Он был прожит не зря. И тогда становится ясно: жалею не о прожитом, а о сегодняшнем дне, в котором нет встречи, который не заполнен ни делами, ни мыслями. Говорю себе: «Одевайся и поезжай. Не гляди на слякоть и дождь, не от них ощущение бесполезно уходящего дня — человеку нужен человек».

Каковы годы нашей жизни: долгие или короткие, полные или пустые, — зависит от нас самих. Их можно продлить и укоротить, наполнить и опустошить. В зависимости от того, кого встретил, кого узнал, от кого набрался ума-разума и чувств, высоких и светлых.

На нашей земле так много прекрасных людей!

Для среднего и старшего возраста

Иван Афанасьевич Васильев

В ПАМЯТИ ЖИВУТ ЛЮДИ

Повесть

ИБ № 7670

Ответственный редактор *Ю. И. Спасская*

Художественный редактор *Т. М. Токарева*

Технический редактор *М. В. Газарина*

Корректоры *В. В. Борисова* и *Л. Г. Петровичко*

Сдано в набор 14.02.84. Подписано к печати 03.10.84. А02981. Формат 84×108¹/₃₂. Бум. типогр. № 1. Шрифт обыкновенный. Печать высокая. Усл. печ. л. 7,56. Усл. кр.-отт. 8,82. Уч.-изд. л. 8,24. Тираж 100 000 экз. Заказ № 4772. Цена 50 коп. Орденов Трудового Красного Знамени и Дружбы народов издательство «Детская литература» Государственного комитета РСФСР по делам издательства, полиграфии и книжной торговли. 103720, Москва, Центр. М. Черкасский пер., 1. Ордена Трудового Красного Знамени фабрика «Детская книга» № 1 Реслапполиграфиром Государственного комитета РСФСР по делам издательства, полиграфии и книжной торговли. Москва, Сушевский вал, 49.

Отпечатано с фотополимерных форм «Целлофот»

К ЧИТАТЕЛЯМ

*Отзывы об этой книге
просим присылать по адресу:
125047, Москва, ул. Горького, 43.
Дом детской книги.*

Васильев И. А.

В19 В памяти живут люди: Повесть/ Рис. Н. П.
кина. — М.: Дет. лит., 1984. — 142 с., ил.

В пер.: 50 к.

Известный журналист и писатель, рассказывая о людях своего Печерноземья, размышляет об основах нравственности, об истоках ее характера.

В $\frac{4803010102-496}{M101(03)84}$ 244-84

50 коп.



Издательство
Детская литература